





Франсуа Ожьерас

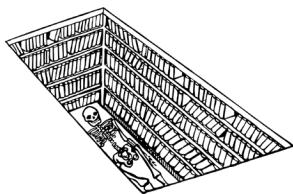
# ПУТЕШЕСТВИЕ МЕРТВЫХ

*перевод Валерия Нугатова*



Kolonna Publications  
Митин Журнал

ББК 84.4 Фр



**François Augiéras**  
**Le Voyage des morts**

Редактор: Дмитрий Волчек

Обложка: Алексей Кропин

Верстка: Дарья Громова

Руководство изданием: Дмитрий Боченков

В оформлении обложки использован картина  
Франсуа Ожьераса «Юный пастух», 1961

©Editions Grasset, 2000

©Kolonna Publications, 2018

ISBN 978-5-98144-240-7

Франсуа Ожьерас родился 18 июля 1925 года в Рочестере, штат Нью-Йорк. Его отец-пианист, преподававший музыку в Соединенных Штатах, незадолго до этого умер от гнойного аппендицита. В ноябре мать с ребенком отправились на борту «Франции» в Париж, забальзамированное тело покойного лежало в трюме...

После короткого парижского детства Ожьерас уехал в восемь лет в Перигё, и Дордонь стала его убежищем в жизни, полной странствий и побегов. В тринадцать лет он бросил школу и поступил на курсы рисунка. Одно время примыкал к движению «Молодежь Франции и Заморских территорий», затем в 1943 году вступил в организацию «Друзья Франции», близкую к скаутам, где руководил малолетними преступниками и работал на фермах. Летом 1944 года, с согласия Ф.В.С.<sup>1</sup> Перигё, уехал из города и, добравшись до Тулона, поступил на службу в 5-й Флотский экипаж, после чего направился в алжирский лагерь Сирокко. Уволившись из армии, остался на год в Алжире и жил в Тибиринском монастыре траппистов, а затем в бордже своего дяди, полковника в отставке, в Эль-Голеа.

---

1 Французские Внутренние силы (движения Сопротивления в 1940-44 гг.). – Здесь и далее прим. перев.

Древняя мистагогическая фигура этого человека окажет большое влияние на творчество Ожьераса. По возвращении в Перигор он связался с небольшой группой любителей искусства и живописи, а также досконально изучил религию. На досуге совершал набеги на везерские островки и спал на заброшенных фермах, подальше от «выродившейся цивилизации».

6

Первое произведение этого пантеистического и языческого мистика, «Старик и мальчик», вышло в 1949 году на средства автора в перигорском издательстве Пьера Фанлака под псевдонимом Абдалла Шаамба (в последующих изданиях – Шаамба). Этот рассказ об эротическом и духовном воспитании в сахарском заточении очаровал Андре Жида, который написал Ожьерасу: «Кого я должен благодарить за эту мощную и диковинную радость?» В 1954 году появление полного текста «Старика и мальчика» в издательстве «Минюи» вновь подняло вопрос, поставленный автором «Пищи земной»: кто такой Абдалла Шаамба? Ожьерасу нравились тайны. Этот кочевник-антихристианин, неуловимый, скрытый и вечно нищий, беспрестанно путешествовал: Дельфы, гора Афон, Сенегал, Мавритания. Фредерик Тристан вскоре опубликовал в своем журнале «Стрюктюр» некоторые его тексты. В 1958 году Ожьерас прослужил несколько месяцев в сахарской полиции, охраняя форт Зирара. А в следующем году остановился в Мали как этнограф и опубликовал свою вторую книгу – «Путешествие мертвых», все еще под псевдонимом Шаамба. Женившись в тридцать пять лет, он жил со своей женой в Перигё, где, помимо книг, писал абстрактные и реалистические картины. В шестидесятых годах

приступил к написанию мемуаров: «Отрочество в эпоху маршала и разные приключения» (1967) стала его первой книгой, подписанной фамилией Ожьерас. Его можно было встретить в Общине Ковчега Ланца дель Васто, в Эро. Он неоднократно останавливался у православных монахов на горе Афон – этой уединенной жизнью вдохновлено «Путешествие на Афон» (1970), где речь идет, в частности, о реинкарнации и физическом наслаждении как способе очищения души. Однако здоровье Ожьераса пошатнулось, и после инфаркта он оказался в домском санатории в Дордони, а под конец поселился в пещере, где продолжал размышлять и сочинять. В младенческом безмолвии мира он написал книгу «Домм, или попытка оккупации», которая нашла издателя лишь спустя одиннадцать лет после смерти автора. Проживая в монтиньякском приюте в 1970-71 годах, он продолжал путешествовать в Грецию и Тунис, где выставлял свои работы.

Вскоре земное путешествие завершилось и началась космическая «траектория», с тайными последователями и почти культовой легендой. Человек, которого его друг Поль Плассе называл «варваром на Западе», человек, всю жизнь ходивший босиком, устремляясь мыслями в космос, скончался в больнице Перигё от последствий инфаркта в сорок шесть лет, 13 декабря 1971 года.

В своем предисловии 1957 года к «Путешествию мертвых» Франсуа Ожьерас указывает на чрезвычайность, преувеличенность своей затеи, словно пытаясь обезвредить, цивилизовать ее – сделать понятной и доступной: «В этой книге выражено

целое мировоззрение, искреннее и вместе с тем жестокое, обращенное к светилам: неисправимая дикость. Порой я спрашивал себя, кому это могло бы понравиться, когда сталкивался с одиночеством, безмолвием и смертью».

8

В самом деле, этот дневник, который автор вел, работая пастухом в Сахаре, – книга скандальная, ультимативная. Скандальная, поскольку писатель без всякого стыда признается в естественном удовольствии, получаемом от мальчиков, девочек и животных. Немудрено, что вслед за Ницше Ожьерас подчеркивает: все произведения, которым удалось уцелеть, были в «глубочайшем смысле слова аморальными». И ультимативная потому, что под провокационно-чувственным покровом произведения таится авторская цель – более чистая и захватывающая, нежели его поступки.

Эти «записки, открытые перед будущим», демонстрируют, помимо принципа удовольствия, эстетические искания человека, скованного одиночеством, живущего в прямом и переносном смысле слова в пустыне, которую он пересекает в поисках новой «математики», «тончайшей и точнейшей» манеры письма. В этом смысле Ожьерас – великий писатель, готовый к добровольному изгнанию и самосожжению, пока он испытывает на себе новую алхимию слова. Это страшный и чудесный провидец, чье желание восстает против «вульгарности Европы» и который восклицает: «Я всего лишь варвар и прожил слишком одинокую жизнь».



## ПЕРВОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К «ПУТЕШЕСТВИЮ МЕРТВЫХ»

9

Я начал писать в Африке – ночью, на глинобитных крышах. В этом желании выжить посредством Искусства, благодаря непредсказуемому приключению, не было бы ничего драматического, если бы оно не исходило от столь примитивного человека. Я был никем, ничего не знал и боялся смерти. Я учил французский по словам.

Эта первая книга была написана к северу от оазиса Эль-Голеа, в необычайно жестоких условиях. Меня спасли любовь к игре и слегка беспокойное, хищное веселье. Я хотел, чтобы темой «Старика и мальчика» была лишь варварская игра под звездным небом, восхитительная шахматная партия. В Сахаре я жил в форте: неужели я навсегда отрезан от людей под сиянием светил, выживу ли я, настигну ли свою эпоху? Я писал каждый вечер при свете маленькой лампы. В полном отчаянии, без единого отклика, я становился художником, что смотрит в небо и встречает Всевышнего в самой глубине своей судьбы, посреди песков пустыни. Безмятежное пламя моей лампы усиливало очарование темноты. В предутренней тишине я хорошо понимал, что авантюра с моими цвет-

ными книгами, разосланными из Африки во все концы, до самой Океании, однажды будет сочтена поступком редкостной смелости, подобным тайной гармонии с миром, подобным агрессии, что волнует гораздо сильнее, нежели умирающий Модернизм. Меня восхищала ослепительная жестокость жизни.

10 Я отправлялся на поиски стиля. Что я читал? Ницше, Сада, Рембо. Что я видел? «Музей человека». Если помнить, с одной стороны, об этой нищете, а, с другой, учесть мое одиночество в Африке, можно понять, до какой степени я, оставаясь за пределами Европы, находился, сам того не ведая, в эпицентре современной культуры. То был произвольный опыт, уравнение с небывало простыми членами и последствиями, которые получают окончательную направленность. Поначалу – только для меня. Если «Старик и мальчик» был всего лишь варварской игрой, то «Путешествие мертвых» должно было стать завоеванием, решением уравнения.

Я пребывал тогда в удивительном заблуждении. В Судане, читая «Голоса безмолвия», я был убежден, что мысль Мальро – это мысль Европы, которой я совершенно не знал, мысль наследственной дворянской элиты, видоизмененная Шумером и Египтом, посланием мертвых и присутствием богов. Западом для меня были Сад, Ницше, Рембо и Воскресение. Все эти зовы лишь углубляли мое одиночество под звездным небом, я принимал свою роль в вечности, которая отделяла меня от людей и примиряла с загробным миром.

Сожалеть ли мне о своем заблуждении и уже отчаянном одиночестве: ведь элиты, для которой я писал, не существует. Бездушная Европа, вместе

с Мальро, воскрешающим богов специально для читателей летних номеров нового «Нувель Ревю Франсез», никогда не простит меня за то, что я считал ее одержимой; за то, что я был потрясен Воскресением, которое оказывает ей честь и превосходит ее, а она не ведает, что с ним делать; за то, что я поднимался ступень за ступенью, израненный, истекающий кровью, но победоносный, по лестнице к светилам; за то, что я верил в загробный мир, о коем вопиют возрожденные всех некрополей; за то, что я не захотел подчиниться парижской цивилизации. Если бы меня попросили дать ей определение, мне бы хотелось ответить: это единственная цивилизация, не воплощающая ценностей, которые называет своими.

11

Прекрасно, что в пустыне возвысился голос, достаточно смиренный для того, чтобы стать достойным Воскресения Богов.

Европа остается такой же, как при Цезарях, грубо отрезанной от Всевышнего. Вопреки ей я обрел свой стиль и свое бессмертие: в былые времена я боролся бы против Рима. Вначале был образ жизни и действий, восходящий к первым дням Творения. Я забыл даже о том западном, что было во мне, и трепетал от радости. Такова моя манера письма – агрессивная, взволнованная. Я верил в свою бессмертную душу, в своего двойника. Я по слову завоевывал свою свободу, примирявшую меня с Богом. Тем не менее я догадывался, что эта волнующая паника заставляет меня пренебречь восхитительным сюжетом.

Пренебречь могущественной реальностью, имеющей отношение ко Всевышнему. Когда я принял ее безоговорочно? Не знаю, к тому же я не в силах понять, в каком месте мои книги стали всего лишь ребенком. Был ли я писателем? То, что я всегда был довольно примитивным человеком, явствует из самой жизни: убедившись в этом, я догадался, какую победу мог бы одержать и насколько современно мое представление о реальности – столь мощное, что достигает загробного мира. На самом деле, произвольное изменение индивидуальной судьбы – это, в сущности, проявление гениальности, результат закономерного принятия последствий нынешней культуры.

«Путешествие мертвых»: в этой книге выражено целое мировоззрение, искреннее и вместе с тем жестокое, обращенное к светилам: неисправимая дикость. Порой я спрашивал себя, кому это могло бы понравиться, когда сталкивался с одиночеством, безмолвием и смертью.

*Октябрь 1957 года*

*Появление нового человеческого типа: ни одна другая тема не казалась мне столь современной и серьезной, не заслуживала такого кропотливого изучения. Главной причиной написания этой книги стала первостепенная и весьма притягательная задача, а также глубокая личная озабоченность: об этом свидетельствует мое решение опубликовать ее на свой страх и риск. Прекрасно, когда молодой человек, в том возрасте, когда свобода кажется самой жизнью, рискует угодить в тюрьму ради простого удовольствия – написания книги.*

*Несмотря на мое одиночество, несколько человек все же прочитали эту рукопись. По их словам, я хотел написать роман, но это оказалось мне не под силу. Никто не подозревал и не допускал мысли, что очерк может быть правдивее рассказа. Я решил ничего не исправлять – пусть читатель сам восполнит пробелы в тексте. Это исходит издалека, из дальнего далека, из моей дикости. Я всего лишь варвар и прожил слишком одинокую жизнь. Приключение начинается с пасторали, а заканчивается Рекой Смерти! Непредсказуемая человеческая интонация, похожая на победный клич.*



Я приехал в Джельфу пасмурным декабрьским вечером 1954 года: над степью неслись густые черные тучи и шел дождь со снегом. Я сел в автобус, направлявшийся на юг, в Лагуат, и тот высадил меня в местечке под названием Мокта-Элус, на обочине, где меня поджидал грузовик с Экспериментальной животноводческой станции Тадмита. Было темно и холодно, меня восхитило безмолвие пустынной местности в том Алжире, который я так любил. Шофер посадил меня рядом с собой, и мы поехали по скверным дорогам. Насколько я мог судить, степь сменилась скалистыми холмами, потрескавшимися на морозе, с довольно неровным рельефом. Неярко светились лампочки на панели приборов, и прояснившееся небо озаряло хрустальным блеском мою потаенную радость.

Миновав тополя, дорога перешла в аллею посреди сада из верб и лавров. Фары выхватили из тьмы белоснежную виллу посреди садового спокойствия, затем форт и, наконец, длинные овчарни. Мы въехали во двор: мы были в Тадмите.

Как только погасли фары, нас вновь окружили безмолвие, таинственность ночи и сильный холод. Вслед за шофером я вошел в низкое помещение,

где, как я узнал позже, располагалась контора секретарей, которые отвели меня на виллу в глубине сада. Там я и заночевал.

Утренний свет слабо обрисовывал гребни гор и верхушки тополей, когда мы поднялись к форту, где у главных ворот все еще стояла вооруженная охрана.

16

В глубине овчарен слышался ропот стад. От скота, лежавшего на подстилках, исходило избыточное тепло и глубочайшее веселье: овцы оягнились – жизнь в чистом виде на рассвете. Этот форт на скалах напоминал крепость с квадратными башнями и дворами, выкрашенными белым: Тадмит раньше был каторжной тюрьмой.

Двое полусонных пастухов достали из-под плащей трубки для кифа и старательно их набили. Высекли огонь и мирно закурили, прислонившись к стенке. Взошло солнце. Докурив трубки и выбив их о потрескавшиеся сапоги до колен, они выгнали скот, размахивая полами плащей: во дворах эхом отозвался галоп – страшный стук сотен копыт о плиты. Открылись железные калитки между загонами: ягнята остались в овчарнях, а их матери вышли на холмы – пастухи шли за ними поодаль, и в кузнице зажглись первые огни под утренним золотисто-голубым небом.

Вторую половину дня посвятили прогулке в окрестностях Тадмита – по садам и полям.

Затем мы отправились верхом к дальним пастбищам. Шел мокрый снег, и степь превратилась в топь, изрезанную вади, – старое плато, разрушенное эрозией, с совсем молодыми гранитными возвышенностями, кое-где выделявшимися на небе своими скалистыми гребнями со стороны лесов. В небольшой долине кочевники стояли



на камнях, дрожа от холода под лохмотьями, и присматривали за стадом. Влага просачивалась сквозь одежду, и от грусти земли и небес разрывалось сердце: алжирские высокогорья под дождем вызывают желание умереть. Но я страстно прозревал, что жизнь моя, возможно, не лишена смысла, тем более что мой конь, промокший насквозь и с опущенными ушами, пустился вскачь, промчался сквозь лавры, как бешеный, чуть не размозжив мне голову о скалы, и вернулся в конюшню, звонко стуча копытами по плитам.

17

Я должен был вести дневник стажера, описывая в блокноте свой распорядок дня, перемещения и уход за скотом. А почему бы не писать тайком свой настоящий дневник, внося туда все, что меня волнует?

Лишь весной я понял, чего хочу, и обрел свой истинный стиль – сначала стиль жизни, а затем легкую манеру письма: не повествование, а, скорее, порядок слов, тончайшая и точнейшая математика. Эта мысль пришла мне в голову, когда я взбирался по склону холма и вольный воздух вдохнул в меня радость жизни. То было уравнение, схема, ведь наша эпоха предпочитает психологии образцовые формы. Проба, основанная на простодушной пасторальной жизни: приближение к жизни в чистом виде, высочайшему здоровью, предельной юности форм. Меня, пастуха XX столетия, необычайно привлекала математика: помимо Ницше, Валери и Жида, я носил с собой тоненькие трактаты по геометрии, которые помогали мне коротать время.

Мне казалось, что мое простодушие созвучно этому веку, великолепию жизни на земле. Я привожу свой дневник в том виде, как он был написан на камнях: документ на фоне степной лазури.

*Тадмит, 1 марта 1955 г.*

Невдалеке от первых скал сахарского Атласа степь орошается голубой прозрачной водой, стекающей с гор. Тут и там – белоснежные утесы, пустынное величие. Я был молод, и мне казалось, что, подобно породам, которые мы выводили, я вижу свет впервые.

Сначала я побежал к гребням холмов, остановился на секунду и дважды глубоко вдохнул: я стоял на цветочном поле под голубым небом. К моим холодным щекам прилила алая кровь. Голый до пояса, со стертыми в кровь ногами в травяных сандалиях, я ухаживал за скотиной, стоя коленями на перламутровых камнях, покрытых росой. Засунув нож за кушак и положив посох на плечи, я направился к холмам.

Скотину нужно было отвезти на грузовике в Джельфу: был базарный день – удобная возможность познакомиться с местным бытом. Я любил Джельфу – гарнизонный городок и крупный населенный пункт, где мы остановились посреди криков баранов, привязанных к каменным столбам.

Я понюхал табаку и выпил воды из поилки. Белые стада бились о мои длинные ноги. Лазурь была чиста и холодна, с гор дул быстрый ветер. Мой красивый и твердый член заныл. Я прогулялся меж белых палаток торговцев, в полдень купил нюхательного табаку (в железной коробочке), рубашку хаки, пирожных и отправился в бордель близ крепостных стен с бойницами. (Я зарабатывал 320 франков в день.)

20

На улочке, вымощенной красным камнем, я выбрал девочку и поднялся с ней в комнату. Языки пламени в камине с фаянсовой облицовкой освещали расписные ларцы, зеркала, разноцветные снега. Ей было пятнадцать: здоровая и сильная, как все горянки. В деревянных сандалиях и плотном ярко-красном платье из бархата. Детский затылок прикрывали косы. В украшенное окно врвалось все великолепие снегов. Я поцеловал ее в лоб, нежно обнял и дал денег. Она заварила мне чаю, смазала ссадины на ногах прогорклым маслом. Присев на корточки, раздвинула бедра, и я глубоко вошел в нее, прямо у раскаленных углей, покачивая ее на руках. Она не сняла белых носков и сжимала пятками мои голые ляжки. Я окунулся в самый разгар зимы, в гущу жизни. Как только я вынул член, она обмыла его теплой водой, налитой в железную миску. Когда я уходил, на город опустилась темнота лесов и скалистых вершин.

Стада покинули рыночную площадь. По Джельфе разгуливал ледяной ветер.

Прислонившись к стене, я рассматривал освещенные красно-зеленые магазинчики и кровоточащие мясные лавки. В арабской бакалее, среди голов сахару, ручных подсвечников и детских платьиц, я купил мыла. У еврея-парикмахера,

продававшего журналы и книги, заметил на доске: Диккенс, Даниель Дефо, Индия, Китай. В стеклах этого «Современного салона», напоминавшего сапожную мастерскую, отражались Греция и Крит. Ослепленный электрическими лампочками, я не решался ничего трогать, тем более что руки были грязные. Чуть дальше я увидел Ницше, Киплинга, «Ласарильо с Тормеса». Возможно, в этом гарнизонном городке есть человек, который действительно все это читает, и он принял бы меня у камелька. Выйдя в ночь, я смирился со своим одиночеством и, самое главное, не желал встречаться с тем человеком, если он жил в Джельфе: мне хотелось побыть наедине с собой. Ведь в глубине души я уже чувствовал приближение весны, первого тепла, мирового юга, дикого веселья.

Я вдыхал запах деревьев, стад и пряностей. Слушал арабскую музыку, без которой страдал в Тадмите, в зеленой парикмахерской, где подстригся, а затем в мавританском кафе: поэзия азиатских садов. Во дворах казарм трубили горны. В веселом угаре своей дикой жизни я купил шерстяную шапочку из американских излишков, а затем мотоциклетную – вместе они представляли отличный головной убор с крепким козырьком и меховыми ушами на кожаных шнурах. На улице я заметил «друга» на ступенях «Рекса», незадолго до вечернего сеанса.

На бетонном балконе, в убогом ледяном зале, где стучали деревянные кресла, сплетая пальцы под коленями, мы следили за мировой круговертью.

В антракте он ушел с видом молодого пастуха, который каждое воскресенье ходит в кино.

Начальник вокзала накормил меня: розовое вино, выпитое за столом и так легко опьяняющее на этой высоте, ночь, лесное безмолвие и непривычка к спиртному наполнили мое сердце радостью на этом алжирском вокзальчике. Я уснул в его конторе, возле гудящей печки, под снование служащих, занятых ночными маневрами и грузящих на товарные поезда тюки альфы и древесины с лесоразработок.

22

В окно виднелся простор и лунный свет, отраженный снегами.

*Тадмит, 2 марта 1955 г.*

Перегоняю стада на весенние пастбища.

Вместе с Юбером пошел в бордель – из тех маленьких горных борделей, где две-три девчонки живут рядом со стойлами в деревнях, расположенных в глухих долинах. Заперев стада во дворе, мы пили у них чай. Шел дождь. Лампа освещала земляные стены и материю, сотканную женщинами; в темноте цвета самой надежды, вера в весну, урожай, берберское язычество. Я опьянел от чая и кифа рядом с девчонкой, револьвер в сапоге царапал лодыжку, пока я занимался любовью: мне нравилось быть мужчиной, таким юным и наивно зрелым.

Мы заночевали у знатного лица, у которого была большая французская деревянная кровать – типа крестьянской. Мы поужинали, поставив тарелки на подставку для дров; пламя освещало наши лица, фаянсовый туалетный столик, его сына, который нам прислуживал. На улице лило как из ведра:

казалось, красная вода смывает деревню. Принимали нас хорошо – как учащихся животноводческой школы. Клянусь честью, Юбер разделил ложе с нашим хозяином, а я остался у камина со своим сверстником.

Я видел его на улочке: он прислонился к двери кузнеца, черной от угольной пыли. Заметив, как я выхожу из дома, куда отец запрещал ему входить под страхом наказания, мальчик довольно улыбнулся: он должен туда попасть... или что он там подумал, зная, что я ночую у них? Он не спал и наблюдал за мной с другой стороны камина. Комната была погружена во мрак – не считая нас у раскаленных углей. Он медленно пополз к стене вместе с одеялами. Я все понял и отодвинулся от светящихся головешек. Спит ли он? Я пошарил рукой по полу, и наши пальцы соприкоснулись; он долго сжимал мою руку изо всех сил. Потихоньку, с предельной нежностью, я залез под перину, которую отец выделил ему на ночь.

23

Я жаждал вдохнуть его жизнь. Мальчики не ищут язык во рту, с сомкнутыми губами мы пили наши выдохи. Наши руки тянулись к толстым, крепким ляжкам. Под одеялами, с закрытыми глазами, я любил его всеми фибрами. Мы оба опьянели от зимы, ночи в горах, снега. Я целовал его лицо. Ноги у нас были горячие. От него пахло лесом. Любовь мальчиков, их подлинная брачная ночь, радость. А затем сон, прерываемый поцелуями и ласками до судорог в запястьях. В полночь я проснулся от сырости.

Если я перетягивал одеяло на себя, у него раскрывалась поясница; я замерзал на голой земле. Я сварил себе кофе на раскаленных углях и остался сидеть, прислонившись плечом к камину, глядя на спящего друга.

Сколько часов прошло? Я снова забрался под одеяла. В темноте, когда погасли уголья и в нас проснулась жизнь, она была светлой и обжигающей: я видел вечную жизнь, явившуюся к нам в ночи посреди зимы. Какая девчонка могла бы дать мне всё это – свою ласку и такую простую жизнь? Из-под разъехавшихся плит пола сырость просачивалась сквозь одеяла. Мы догадывались о близости подземных ручьев, воды, соков, сотен источников. Я уснул, и шепот тающих снегов на улице мало-помалу стих, а ночной мороз остановил и сковал ручейки.

Нас разбудил дневной свет, падавший из потухшего камина. Мы не шевелились, дабы удержать тепло под одеялами. Пора было занимать свои места в комнате. Голые, лежа бок о бок в рассветной тишине, мы были молоды и все еще связаны сном – одним и тем же источником.

– Я люблю тебя, – сказал я ему под периной.

– Я тоже, – ответил он, целуя меня в губы.

То была моя весна.

На потухших головнях лежал голубой отсвет – чистейшая лазурь.

Выпив кофе, я увидел эту лазурь над степью, каменистыми холмами. Восходящее солнце обжигало мое скуластое лицо, голубые глаза и длинные пряди. В свете африканского утра над моими голыми плечами блестели медные патроны, за поясом торчал номер «Реалите», привезенный из Тадмита, и револьвер. Я надел кожаную шапку с меховыми ушами и увидел длинную, мирную цепь Атласа, розового в утреннем золоте, сияние снегов: под первым солнечным поцелуем они пламенели воздушно-красным на ярко-голубом. Мне казалось, что на влажных от росы плитах из песчаника я созерцаю первые дни творения.



Этим мартовским утром во мне зарождалась новая раса. Меня обжигали солнечные лучи и более тонкие волны... жизнь, спустившаяся из верхних слоев атмосферы: весна.

Я разделся до пояса и повязал куртку на талии – у меня было десять-двенадцать часов, чтобы спокойно размышлять, изучая растения, животных. Покой, безмолвие, которое я так любил, столь необходимое для веры. Повторю: безмятежный и чистый взгляд, новая раса, любовь к анализу; бесконечное терпение. Целыми днями в степи, наедине с собой – прыгая с камня на камень по холмам, созерцая лазурь, охраняя скотину.

Вечерами я встречался с Юбером – в горных деревнях или в Тадмите. Мы занимали виллу в тадмитском саду – невероятно унылом. Каторжники вырыли бассейны, и в ледяной воде плавали утки. Тополя, клены и ясени дрожали на зимнем ветру. На вилле с Юбером, в постели рядом с печкой, приближение сна сразу после ужина было для меня самой приятной минутой. С закрытыми глазами, хотя свет печки и проникал сквозь веки, я погружался в глубокий и крепкий сон.

В ледяном дортуаре, рассчитанном на десять стажеров, Юбер дал мне почитать «Молчание моря» Веркора. Для двух двадцатилетних парней это одиночество было суровым испытанием, я вспоминаю о нем со страхом и восторгом. Я слышал журчание ручьев в саду, но какая тишина, какая тоска царили на вилле, где мы запирали все двери с наступлением темноты! Единственное развлечение, которое мы нашли для себя, не сговариваясь: полностью игнорировать присутствие другого, но иногда по вечерам мы любили поболтать у печки. Он рассказал, что вдовец-директор

женился на разведенной и у них большая любовь. Мы видели, как они обнимались в лунном свете под розовыми кустами, осыпавшимися зимой.

У меня был револьвер, который днем я оставлял в шкафу, запирая его на ключ, а вечером брал с собой. Оружие всегда лежало наготове возле запасной обоймы и коробки с сотней патронов. Мы крепко закрывали ставни, на вилле было очень светло от звезд, и мне казалось, что я никогда столько не спал: сексуальный сон у самых истоков жизни, сексуальность в чистом виде, без жестов и мыслей. Мы ждали весны.

Однажды вечером мы увидели зеленую ракету над степью, на севере, со стороны пихтовых лесов, и решили, что это сигнал к неминуемому нападению: мы простояли на часах до самого рассвета.

Как-то ночью я проснулся от плача: Юбер плакал у печки, раздувая угли. С ним часто случались такие припадки, после чего он методично рылся в моих вещах. Свой невысокий рост он возмещал луженой глоткой. Он был эльзасцем, и я замечал в нем худшие европейские качества и недостатки: нам пришлось возглавить ССМ (Сектор сельскохозяйственной мелиорации) и командовать туземцами, чем он занимался с отвратительной грубостью. На пахоте только его и было слышно: его жестокий голос, напоминавший лай, отдавался эхом в самых дальних садах. Я заметил, что мой голос успокаивает его, и убаюкивал напарника своей беседой по вечерам. Когда у него случались приливы нежности, он проявлял любознательность и серьезность, непрерывно расспрашивал меня и давал почитать «Ридерз Дайджест» из своей обширной коллекции. Под одеялами, липкими от сырости, мы читали до

девяти, но только не позже. В «Ридерз Дайджесте» печатались игры и викторины. Юбер был очень сварлив и тщеславен. Я сказал ему, что в Тадмите я сплю без просыпу. Словно зерно в заснеженной земле, я ждал весны.

Моя тихая и спокойная работа почиталась образцовой. Один лишь Юбер догадался о моих пристрастиях и, увидев меня голым, раскусил, что я не француз. Это возбудило его любопытство, он был стопроцентным европейцем – тонким и умным, порой казался веселым, но затем резко впадал в уныние.

Однажды утром в степи, в солнечную погоду, я собрал гербарий из весенних трав. У них были красивые названия:

Полынь	Нефаль
Шир	Альфа
Ретам	Альма
Дрин	Лазуль

Я был одинок и счастлив под лазурью – с травами в руке, неподалеку от своего стада. Моя мать – родом с Кавказа. В утренней тишине я был весьма чувствителен к лучам света. В шапке с меховыми ушами, облокотившись на землю в цветущей степи, я раскрыл книги, купленные в Джельфе. Я любил полную свободу, которой наслаждался в окрестностях Тадмита. У меня были:

«Рождение трагедии» и «Аврора» Ницше. У Карла Ясперса я нашел единственный комментарий, выражающий утреннее простодушие творчества Ницше: «Карьер, – пишет он, – холм, озаренный восходящим солнцем. Тут и там – белоснежные валуны: не сооружение, а белые камни, влажные от росы на весенней траве». Свежесть архаической Греции, стройка на заре нового времени.

Еще студентом-ветеринаром я открыл «Рождение трагедии»: призыв к зимнему сну, полному сновидений и музыки перед весенними празднествами. Я был близок к берберскому язычеству и глубоко чувствовал его.

О, музыка Греции, рожденная под звуки флейт в эгейских хлевах! Нужно внимательнее читать Ницше: поразительно, что его полюбил такой скромный мальчик, как я. Ухаживая за скотиной, я необычайно растрогался при рождении многоцветной зари.

29

Я отправился дальше, похожий на израильских девочек, стерегущих стада с книгой и ружьем в руке.

Бетонные лабиринты для сортировки баранов. Из всех знаков человеческого присутствия на земле – самые светлые и красивые!

Как прекрасна степь весной! Утром я двинулся на север, по обломкам морены, вдыхая ароматы в цветущих полях. Я видел невероятно темную и чистую лазурь. Все было кристально-ясным. Очень высоко, против света, летали сарычи.

Я перешел вброд ручей, босиком в ледяной, прозрачной воде, и потерял из виду Тадмит – этот беленый форт. На месте высохшего озера теперь была длинная лужайка, где я пас скотину. Ручей превращался в болото посреди зеленой травы, эту ложбину окружали пригорки из красного камня, потрескавшегося на морозе.

Свет был нестерпимо ярок. Я сидел на известняковой глыбе, играл на флейте по воле ветра, в такт ударам своего сердца. Я любил одиночество.

В воде промеж моей скотины бродили цапли. Я поел сухарей. В Тадмите я отбился от рук, читая в степи, как азиатские мальчики.

У меня была странная манера письма: рафинированность или врожденное чувство стиля... Бедность? Сначала я записывал знаки света, безмолвия. Изобретенный простор, игра... в двадцатом веке, на высокогорьях.

30

Я встал, собрал баранов, кидая в них камнями, взял чайник, привязанный к поясу, наполнил его водой и развел костер из альфы. Сжимая карандаш в руке, я любил воздух, лазурь. Мое сердце билось от радости, мне никогда не надоедало одиночество, вдалеке от всех. (Меня считают простодушным, и моя отправка в Тадмит запланирована.)

Простодушие – серьезная человеческая проблема, одна из самых поучительных, наряду с вопросом о зарождении рас. Быть может, дремлющий – это необыкновенно одаренный и желанный человеческий тип? А здоровье – само по себе ценность, одна из высших человеческих ценностей? Возможно, жизненная сила в чистом виде одурманивает и усыпляет, словно переизбыток кислорода. В отношениях с жизнью следует проявлять больше такта, тонкости и чуткости. Презрение европейцев к скотине и безмолвию изумляло меня. Кому, как не мне, учащемуся животноводческой школы, говорить о жизни? Беглый дневник. Записки, открытые перед будущим.

Вода закипела: альфа выделяет страшно много тепла. Я поставил чайник в ручей, чтобы остыл. Задрав холщовые штаны до бедер, побродил в голубой воде. Я радовался своим блокнотам и своим сапогам на камнях.

По бетонному каналу струился мощный поток, подпитываемый тающими снегами. Я был свободен. Понюхал табак и влез на холм, откуда окинул взглядом пустынную местность. Я добрался до железной дороги. Затянул на талии пальто из черной шерсти и уселся на рельсы. Я видел желтые травы, отливавшие разными цветами по малейшему капризу солнца и ветра. Альфа и сеннак весенних пастбищ. Я собирал цветы и складывал их в карманы. Молодая, целинная земля вращалась в пространстве, где светила белая луна.

В полдень я нашел Юбера в загоне. У входа в лабиринт, вооружившись пистолетом-дозатором, мы полечили мое стадо фенотиозином<sup>2</sup>. Кочевник, оставшийся снаружи, наблюдал, как растет число выпущенных на волю баранов, харкавших зеленой слизью. Он странно улыбался мне, это ускользнуло от Юбера, целиком поглощенного борьбой с барашками: настоящая гимнастика под лазурью небес.

На бричке приехал Абдалла – главный пастух Тадмита. Я не говорил? Я жил с ним с весны. Когда мы были одни, я целовал ему руку. Я не сделал этого из-за Юбера, сел в бричку и взял поводья. Мы отправились на экскурсию по скверным дорогам в окрестностях Тадмита.

Я вел двойную жизнь – то чересчур «современную», то берберскую. Он был чрезвычайно добрый, благородный человек, но придира и вечно спорил из-за пары арпанов земли. Мне нравилось служить ему: бежать перед лошадей и раздвигать валуны, освобождая путь для двуколки.

---

2 Фенотиазин – препарат, в прошлом использовавшийся в ветеринарии для борьбы с глистами у рогатого скота, свиней и лошадей.

Он обитал в белом бетонном кубе на скалах – каменном острове на зеленых пастбищах.

32 У него я предавался веселью, был любезен и упивался рассказами. Он любил меня, но был очень стыдлив. Ему казалось, будто из своего логова, возвышавшегося над равниной, он надзирает за всем, но он ничего не знал о любовных интригах. Он жил мечтой о честности и доброте. А я был негодяем и лжецом, засыпал под своей меховой курткой, захмелев от табака и мяса, и приходил в исступление от запаха сбруи и зерна.

Когда потухли угли, я открыл дверь. Ночь была ясная, как безупречный хрусталь. Я слышал топот стреноженных лошадей, крики баранов в загонах, лай собак в степи. Блестели звезды – чистые, жестокие. Я направился к странным и прекрасным скалам, молочному песчанику, каменному потоку, слепящему в темноте.

Я увидел вершины, белые от снега.

На рассвете грузовик поднимался в горную деревню за фуражом.

Над цветущими полями у подножия берберских гор сияло ярко-голубое небо. Я начинал подумывать о том, чтобы оставить Тадмит и устремиться куда-нибудь еще. Осуществление этого плана я отложил на потом и предался веселью весеннего утра. В пустом кузове, трясемся на виражах, я наслаждался свежестью дубовых лесов, синих теней, водопадов с кремнистыми руслами. На берегах горных рек были построены арабские фермы с красными каменными стенами. На крышах сушились на солнце вязанки хвороста. Грузовик остановился на главной улице поселка, рядом с источником, где женщины стирали белье.



До вечера я был свободен и радовался, что никто не знает меня на этой улице, ведущей к горным хребтам, в базарный день. На тротуарах стояли кофейные столики и стулья, крестьяне играли в домино и карты, а местные юноши, их сыновья, с пастушьим посохом на плече переходили от одной группки к другой – степенные, уже возмужалые. Я веселился, довольный тем, что на меня смотрят, и гордился своими красными сапогами.

Спустившись к источнику, где девушки выбирали камнями белье, я уселся на скамью перед пещерой кузнеца. Здесь я находился немного в стороне от оживленного базара, рядом с холмами, залитыми солнцем крышами, посреди многокрасочной феерии берберского края.

Я возбуждился, увидев мальчика в больших туфлях из алой кожи, в шерстяном пальто, наброшенном на плечо. Что за комедию он ломал забавы ради? Спустившись с гор, с посохом в руке, он широко шагал прыгающей походкой, а затем купил сладких сухарей, со странной, жуткой улыбкой на устах. Он вошел в первую комнату борделя. Небольшая толпа переминалась на земляном полу, деревянная створка, похожая на дверь хлева, вела в женский двор. Прислонившись к голубой колонне, я слушал, как девушки пели убогие песни, которые подхватывали собравшиеся здесь мужчины, стуча пятками о пол. Девушкам было лет по пятнадцать, их муслиновые платья стягивались на талии медными поясами. Мой «друг» выбрал девушку и поднялся с ней, улыбаясь встреченным здесь отцу и дядьям. Девушки горланили под звуки флейт песни, опьянявшие присутствующих, которых становилось все больше: они заключали торговые сделки. Пятьдесят мужчин

окружали десяток девушек, демонстрировавших свои животы и голоса по желанию самцов. Они толкали друг друга, не осмеливаясь приближаться к девушкам, которые, находясь вместе, были источником опасности.

Когда мой друг спустился, орудуя локтями, мне удалось добраться до девушки, которую он только что покинул. Я скромно попросил ее принять меня. Она посмотрела в мои глаза. Мне понравилось это мгновение – беглый осмотр, ведущий к отказу либо согласию. Улыбнувшись, она ответила: «Да». Я возжелал ее, после того как она познакомилась с моим другом. Я считал его красивым и благородным и полагал, что, если мальчики любят друг друга, желательно, чтобы они ходили и к девушкам. Случай подарил мне ту же девочку, что и мальчику, которого я любил.

Когда я вернулся в нижнюю комнату, был уже полдень. На железном столе тикал большой будильник. Я вышел и увидел ярмарку скота, лошадей, привязанных к каменным столбам, своего друга. Мы решили провести весь день вместе, съездить на поезде в Бен-Шиккао. Воздух был голубым, деревья цвели. Мы прибыли туда к одиннадцати и поднялись к трем деревьям: ни единого облачка на небе, где парили влюбленные ястребы. Тут и там – алые скалы на вершинах холмов. Яркие-красные камни. На перроне поезд выбрасывал в небесную лазурь большие клубы пара. Вокзал – остановка в цветущем поле, вдали от всякого жилья. Мы были молоды среди зеленых трав. В прозрачном воздухе гудел ветер. Наверное, Аркадия напоминала окрестности Медеи. Каким прекрасным было это весеннее утро! После ухода поезда вокзал с закрытыми ставнями показался

пустынным, вдоль травянистых откосов колыхались на ветру тростники. Этот край под сенью гор Уарсенис, изрытый глубокими синими долинами и зелеными скважинами, где сквозь густую листву виднелись родники, придавал земле и небу лучезарности.

Я поцеловал его лицо. Сжав меня в объятьях с беспредельной нежностью, он тоже поцеловал меня и закрыл глаза – в безбрежном лунном свете, заливавшем молчаливые высокогорные луга.

35

Вечером, вернувшись на вокзал по путям, он сел на поезд до Медеи. А я остался в Бен-Шиккао дожидаться того, что прибывал из Алжира, и уселся на скамью.

Крики скотины в стойлах очаровывали, как жизнь и любовь: волнующие сладострастные призывы. Первые весенние ночи и сады, казавшиеся почти дикими из-за близости гор.

Никогда не забуду белые дворы тадмитского форта – ослепительную белизну под небесной лазурью, цвет самой жизни и рассвета. (Его основа – белая каторжанская штукатурка.)

Я чувствую родство со скотиной – с ягнятами я был связан еще и сексуальными отношениями. (Мы стараемся удалять ость, бурую шерсть, пигментацию копытец.) Хотя пастушество вымирает, такой мальчик, как я, принадлежит этому веку. В красных сапогах я пляшу от радости на наших белоснежных стенах. Я пристрастился к нюхательному табаку, который здесь в большой моде, и пьянею от воздуха и жизни... жизни, которую беру в руки, принимая роды у матерей. Член у меня большой и твердый, я сношаюсь с самками; распахивая железную дверь овчарни, трахаю своих женщин... Разве я не молодой король со своим двором в горах?

Я лечу скотину метиленовой синью. Опять роды. Чистая и холодная лазурь. Снег на хребтах. Моя позолоченная табакерка на камне, я нюхаю. Покой, безмолвие.

Во дворах дрожат новорожденные, еще мокрые от крови.

Вакцинация сорока пяти самцов в степи (остаток восьмого стада). «Антеровис». Уход за скотом в овчарне. Бирки: вес животных, дефекты, наследственность, биологические анализы, мутации.

Земледелие. Пахота. Орошение овса и турецкой люцерны. Дискование. Мичуринская пшеница.

Пахота.

37

Вечером, на опушке букового леса, я увидел большие зимние тучи, пришедшие с севера.

Мы имеем право (право?) ездить по воскресеньям в Джельфу, Лагуат – гарнизонные городки, обдуваемые ветром.

На экспериментальных фермах всегда был известен тип мальчика, чья простота практически равносильна преступности, так что место ему в исправительной колонии. Неуловимая грань. Склонность к «поэзии» одиночества и побегам. Почти что заточение, принимаемое с ребяческим удовольствием. Мастурбация, педерастия. (С наслаждением прочитал «Записки из мертвого дома» Достоевского.)

В поезде, растянувшись во весь рост на третьей полке, я достал из кармана табакерку, попробовал местный порошок, показал жандармам пропуск, подписанный самим тадмитским директором, поглазел на стада в степи и попросил билет в горы, до Медеи, у контролера, который велел мне снять ноги с полки.

Прибыл вечером.

Патрули по-римски чеканили шаг. В городе стада проваливались в снег на целый метр. Я позвонил в дверь старшего офицера, представил-

ся: племянник знаменитого полковника, немного поиздержался, позвольте и т. д. Приняли хорошо, усадили на диван, предложили наливку. Ирония в том, что в действительности они не знали, кто я такой, не знали о моей подлости и дикости.

Я быстро опьянел – ровно настолько, чтобы сойти за блестящего собеседника. Мне предложили сухие пирожные. Представьте себе кабинет алжирского офицера, местные ткани, низкую мебель. Я давился сухими пирожными, восклицая:

– Измены, мадам, измены.

Скромный, примитивный, опасный, слишком учтивый для порядочного человека, прячущий обгрызенные ногти, с чашкой кофе на коленях. Я захмелел от хорошей пищи, к которой не привык, словно от вина и высоты. Меня оставили одного.

Я безумно нуждался в роскоши, тепле. Огонь еще горел. Поставив босые ноги на густой шерстяной ковер, – мои красные сапоги освещались головнями, – я изучил гостиную, зажег низкую лампу. Роскошью для меня были книги по искусству. Я заметил, что они совсем новые, казалось, их никогда не открывали. Снега воодушевляли меня в этом мавританском доме. Чары Медеи были беспредельны: в окно гостиной я различал арабские фермы в глубине лощин, родники, призрачный пейзаж в ночной мгле.

Я сидел на ковре, и мой восторг возрастал с каждой страницей: Искусство неодолимо притягивало. Моя дикарская натура столкнулась со всеми чудесами света сразу: государь с геральдическими лилиями, лабиринт во дворце Миноса. Открытие Искусства... ну и комфорта, что греха таить: на одну ночь я согрелся и спрятался от смер-

ти. В выдвижных ящиках лежали женские платья, я набросил на себя одно; стоя на коленях у огня, засунул руку под подол и довел себя до оргазма.

Как только прошел первый порыв, эта неясная потребность в наслаждении, ко мне вернулась мужественность: слегка устыдившись, я отбросил платье подальше и вернулся к чтению на ковре. Лица мертвых, лазурь египетских некрополей. Который час? Одиннадцать. Я решил уехать, снова увидеть Тадмит – я любил степь, свою привольную, веселую жизнь. Я выбрал самые красивые издания, вырвал из других лучшие репродукции, все упаковал, натянул сапоги, бесшумно вышел и сел в ночной поезд на юг.

39

Вскоре скука, как назло совпавшая с адской погодой, сделала мою жизнь в Тадмите невыносимой. Нам абсолютно нечем было заняться. С раннего утра и до вечера я расседлывал лошадей в конюшнях после поездки в степь и сушился у очага на вилле: Юбер не уезжал оттуда и валялся на походной кровати, увлеченный чтением «черной серии».

Дождь сменился жестоким ветром, мои сапоги сплошь облепила грязь с пастбищ. Мы сжигали по кубометру дров в день. Жизнь пленника, свободного в радиусе нескольких километров, без книг и музыки, с единственным удовольствием – допьяна нюхать табак, укрывшись от ветра в какой-нибудь ложине. Я опасался, как бы Юбер не обнаружил старательно перевязанный сверток, привезенный мною из Медеи.

Этот сверток, который я еще не распаковывал, был для меня таким же восхитительным наркотиком, как и нюхательный табак. Вечером перед

сном, в последних отсветах печки, я ощупью удостоверился, что он по-прежнему лежит под курткой в шкафу.

Любовь к «Поэзии», онанизм, сон. Большую часть ночи я искал повода для поездки в Джельфу, Лагуат, но так и не нашел: пять или шесть часов скакал галопом по степи, чистил лошадей в конюшнях форта.

40 Я позволил себе удовольствие, о котором давно мечтал: горячая ванна. Случайно зайдя в прачечную, чью дверь забыли закрыть, я увидел белье директора, плававшее в баке для кипячения, поставленном на огонь. Я вытащил белье и помылся в баке, доливая холодной воды, как только начинал обвариваться. Я привел всё в порядок, решив вскоре вернуться, дабы отвлечься от молчаливой ссоры с Юбером.

Долгожданный случай представился. Зимним вечером грузовик отправлялся в Лагуат за фуражом. Я договорился с шофером. Дул холодный ветер, наши фары освещали хмурые просторы. Я видел высокие скалы, лощины, первые пески, пустыню.

Я заказал себе несколько больших тарелок требухи в дальнем зале местного ресторана и всласть предался молчаливому веселью. Я опьянел от зимы в этом алжирском оазисе, где стоял трескучий мороз, от мяса и музыки. Француз, забредший в этот подозрительный ресторан, обратился ко мне по-арабски. Я тоже ответил по-арабски. Кто я? Не важно – я был счастлив. Радиоприемник горланил кочевнические песни, огонь озарял крашенные своды, скамьи и столы. Снаружи шел снег. Я вышел и встретил Юбера у кинотеатра. Показывали «Возвращение Зорро».



Мы долго стучали в двери, прежде чем нашли свободный номер в довольно бедной гостинице.

Он задул свечу.

Помню его холодноватые колени, которые не смели соприкоснуться с моими.

– Мне страшно. Жизнь внутри меня беспрестанно стонет и мучает меня. Я не в силах молчать. Понимаешь, иногда мне страшно. Я уже несколько дней не говорил.

Откровенные признания в темноте – чарующий шепот. Мне казалось, будто я говорю не с Юбером, а с зимой.

– Где твоя мать?

– В Гардае, недалеко отсюда. Она бедна, я люблю ее.

– Куда ты идешь?

– В бордель.

– Среди ночи?

– Да.

– Ты ненавидишь нас.

Сидя на краю кровати, положив в сапог револьвер:

– Нет, но зимой я люблю женщин.

– Причем местных.

– Они поют и танцуют. Мое самое заветное желание – заняться сексом на земле, возможно, потому что я люблю землю. Зима для меня – очень древний праздник. Мне нравятся их комнаты без окон, где я трахаюсь при свете лампочки, напрягаясь всем телом от страсти, со снегом в волосах, не снимая сапог. Их терпковатый аромат пьянит меня, я трахаю их нежно, степенно, без любви. Любовь – это...

– Что?

– Мальчики, если хочешь знать.

– Останься, обсудим...

Я швырнул сапоги в угол комнаты и вернулся в постель. Было так холодно, что я еще долго дрожал под одеялами.

– Я люблю молодых женщин, все они немножко мои сестры, а все мальчики – немножко мои братья. Я хочу девчонок, мне даже кровь не противна – наоборот. Никогда не понимал тоски и беспокойства мальчиков-педерастов, о которых пишут в романах.

42

По-моему, есть два типа педерастии: одна вызвана переизбытком жизненной силы, а другая – упадком. В обоих случаях наблюдается сексуальная нерешительность. К первому типу, несомненно, относились древнегреческие мальчики – здоровые, крепкие, благородные, полезные обществу, полные неясных желаний, орошаемых слишком мощным потоком либидо. Второй тип подразумевает уменьшение жизненной силы, что само по себе достойно презрения, каковы бы ни были нравы. Для меня отношения с мальчиками – источник беспредельной радости и умственного равновесия, из которого я извлекаю величайшую пользу. Мне хочется оставаться чистым, я отвергаю вульгарность Европы – спокойно, без ненависти, но и без компромиссов. Европа любит алкоголь, а я – нет. Вам совершенно не ведомы душевные и духовные радости, вы презираете животных и растения. Труд! Труд... Цивилизация рабочих-специалистов! Труд, женщины, алкоголь. Цивилизация скотов, которую я отвергаю. Я защищаю не поэзию, а здоровье, высочайшее здоровье и радость жизни. Я хочу одержать верх над другими людьми благодаря моральной стойкости, физической красоте и совершенству в отношениях с миром.

К середине января погода окончательно испортилась. Заснеженный Тадмит обрел свой подлинный облик алжирской каторги, где можно подохнуть от тоски. Длинные овчарни прежде были тюрьмами. Дикий пустынный пейзаж, окружавший наши беленые стены, навевал душераздирающее уныние. Люди здесь умирали от холода и страданий: нагромождения камней на склоне указывали на могилы.

Стада топтались в черной грязи дворов. Местные рабочие проявляли ко мне дружеские чувства: я немного трудился в кузне. Уныние вызывала не столько зима, которую я любил, сколько одиночество.

Я замерзал в своей вечно сырой одежде, пальцы слипались от крови, в сером небе свистел пронизывающий ветер. Я любил тепло тюрем, где вдыхал запах жизни и смерти. Скотина умирала на окровавленной соломе овчарен: ягнята, едва вышедшие из материнской утробы, через пару недель возвращались во тьму с кротостью детей, хмелея от лихорадки. Они отходили очень легко, невзирая на мою заботу, и я убаюкивал их. Тушки мы сбрасывали в навоз.

Я не получал вестей от матери, и это еще больше меня огорчало. Какое безмолвие! Французы не поют. Мои воспоминания о тех унылых днях — одно печальнее другого. В глазах товарищей я был дикарем. Я сказал, что мне нравилось в кузне, но я не мог там долго находиться.

Юбер стал таким несносным для всех, что сблизился со мной. Мы скучали по нашей декабрьской интимности, нашим беседам у печки перед прибытием новичков. Оговор, холод, скука. В плохо освещенной столовой виллы, отодвинувшись на

край стола, липкого от сырости, я ел, как животное. А затем уходил спать, укрывшись с головой одеялом, чтобы не слышать их (порой не раздеваясь – так было холодно), и погружался в чудесный сон, полный здоровья и непобедимого веселья.

Станция предоставила нам местного повара по имени Мустафа – старого военного, и он непрестанно ободрял меня. Возвращаясь из степи, я обязательно находил на плите стакан чая или кофе. Славный Мустафа! Он любил меня, как сына.

Тот же Мустафа однажды вечером сделал мне необычный подарок, от которого я отказался, не желая совершать новые глупости в Тадмите: он предложил мне своего племянника, помогавшего мыть посуду.

Надо рассказать эту историю.

Представьте себе зимнее уныние, алжирскую меланхолию, прекрасный сад подле виллы, высокие деревья под небом, усеянным чистыми звездами. Ахмед был красив, улыбчив, ему исполнилось шестнадцать. Рубашка хаки с короткими рукавами закрывала его руки и молодое горло.

Как-то вечером повар набросился на племянника:

– Разбойник! Лодырь! – закричал он и схватил кожаный ремень: – Держите его!

Я схватил юношу, а дядя отшлепал его раз двадцать по пояснице – не очень сильно, чтобы Юбер не услышал шума, ведь перегородки на вилле были довольно тонкие. Ахмед весело вырвался, прыгнул к двери и со смехом удрал.

– Догоните его, – крикнул мне Мустафа, – и отлупите.

Ахмед убежал в глубь сада. Я нашел его в крошечной тьме голубятни. Я сжимал в руке ремень, мальчик был у меня в руках и отдался мне, тяжело дыша, с испугом и восхищением. Мы немного побеспокоили голубей – на балках слышался шум крыльев.

– Ладно, пошли, – сказал я Ахмеду.

Юбер ни о чем не догадался, и я уверен, что Мустафа всё это подстроил. Ахмед был благодарен мне за то, что я не опорочил его. Он всегда встречал меня обаятельной, слегка разочарованной улыбкой. Я не переменил своего благоразумного решения. Каждое утро, поднимаясь к хлевам, любовался, как он колет дрова. В холодном рассветном воздухе он широко размахивал топором. Заметив меня, краснел и начинал стучать по поленьям сильнее. Засыпая, я думал о нем да еще о почти центрально-азиатском саде с тополями и розовыми кустами под луной.

Я проснулся в ледяном дортуаре: было еще темно, Мустафа держал довольно тусклую штормовую лампу. Я оделся.

Сидя на пороге хлева, я смотрел на вершины. Кричали петухи. Мне нравилась моя привольная жизнь. Холодный ветер трепал черепичные крыши. Алжир жесток, но чист. Джебел Амур раскинула свои длинные белые гребни. В Тадмите, где люди познали заключение и смерть, теперь царил покой – покой стад и моего сердца, моей юности. Я думал о женщинах, которые были у меня в Джельфе и Лагуате – таких красивых, таких юных.

Неожиданно я увидел лазурь. Мне казалось, будто я вижу сон: безоблачный день! Сияние. Я оседлал коня. В шерстяном пальто, туго стянутом

на талии, поскакал тяжелым галопом на север: лошадь увязала в снегу. Мне пришлось спешиться и вести ее на поводу. Когда почва стала потверже, я вскочил в седло. Снег обострял мою жажду жизни. Сжимая плетъ в руке, я вопил от радости в безбрежной степи, изрезанной мягкими всхолмлениями.

46

Я вернулся довольно поздно, уже доев хлеб, лежавший в карманах. Издалека Тадмит, построенный на скалах, казался деревней с китайского эстампа.

В хлеву издыхала скотина. Я зажег лампу, слабо осветив стены, побитые мелким градом. Я обнял животное и лег рядом с ним. Оно дрожало с широко раскрытыми глазами и больше не боролось со смертью, а с каким-то восторгом отдавалось неведомому сну, который уже не пугал. Два дня оно ничего не ело и не страдало от этого. Его питал жар. Зад был испачкан кровавым поносом. Оно бляло, закрывая глаза: ни криков боли, ни криков о помощи. Я баюкал его. Его вырвало у меня на руках, и я понял, что животное обречено. Его сердце учащенно билось: звук самой жизни. Что она знала о жизни – эта овечка, рожденная в декабре? Я тихо запел – для нее. Она больше не шевелилась. Испустила дух? Жизнь снова пробудилась в ее горячем теле, но слабо, словно поддержанная моим присутствием: казалось, я сам умираю.

Она издохла в шесть вечера, с широко раскрытыми глазами. Я вышел. Над дворами блестели звезды. Я был так взволнован, что не хотел ужинать на вилле. Сторож, живший в лесном заповеднике, предложил мне чаю. У него ярко горел очаг. Я сел на скамью напротив пламени. Дрова пахли

ближним лесом, покрывавшим холмы на севере. Адское пламя. Сторож оставил дверь открытой, и удивительная свежесть снега мешалась с теплом пылающих углей. Моя одежда была испачкана грязью и кровью. Я снял меховую куртку. Сторож сел рядом со мной, поставив ружье между коленями, и бросил мяты в кипящую воду.

Мне было хорошо у него: он был молчаливый, степенный, благородный и очень старый. Пришлось снять шерстяной свитер без рукавов, который я носил на голое тело: так обжигал жар. Обнажившись до пояса, я выпил травяного чая.

47

Да, я любил Алжир. Наверное, мои родители именно так и жили в России. Он дал мне понюшку. Я был скромн, и, вероятно, это нравилось ему в стране, где мальчиков колотят до тридцати лет. Он набросил мне на плечи свою куртку. Я немного вздремнул. Я был счастлив и спокоен, вдыхал ночной воздух, проникавший в помещение.

Когда-то зимой я жил на севере, в траппистском монастыре Атласской Богоматери, в Тибирине. Окруженный со всех сторон снегами, я колол там дрова для святых отцов, слушал среди ночи службы и тянул цепочку кузнечных мехов в открытой риге на вершине горы. Местные юноши приходили и садились на скамью под самой вытяжкой: мои первые товарищи... в шерстяных накидках на голое тело. Мне казалось, будто я снова слышу строгие голоса, читавшие священные тексты в безмолвии снегов, – голоса мужчин в монашеских рясах, пахнувших хлебом, свечным воском и остывшим потом.

Сторож ворошил угли железным прутом и бросал в огонь целые деревья – еще не распиленные и сваленные в кучу на пороге его комнаты.

Мне обжигало кожу. Я напросился остаться у него, и он разрешил – только на одну ночь. Я спал на земляном полу, на своей меховой куртке, и мою голую руку озарял огонь.

Когда настала весна, я ощутил, как во мне зарождается новое, чистое отношение к жизни, и наконец я начал догадываться о подлинной ее ценности.

48

С восходом солнца я взобрался на холм с белой известняковой вершиной.

Прибытие новичка стало главным событием тех дней. Когда о нем объявили, Юбер рассчитывал на партнера по игре в карты и союзника против меня, поскольку с трудом выносил мое молчание, ведь, хотя я любил поболтать вечером, в поле я оставался нем.

Новичок прибыл к ужину, сел, перекрестившись, за стол и отказался от Юберовой анисовки. Он был гораздо ловчее меня и, набравшись опыта в Движении католической молодежи, перевел разговор на отчаяние Юбера, метавшегося между Сциллой и Харибдой. Неожиданно Жильбер подтвердил право каждого на покой и молчание, а я признался ему в своем уважении. Он назначил мне встречу утром на залитом солнцем дворе форта и заговорил о ежедневном причастии, утренней белизне облатки.

Рядом с ним я казался неотесанным, примитивным... Именно это мешало мне стать христианином. Я был дохристианским, слишком здоровым, слишком простым – по-моему, это и есть подлинный отказ. Я был скромным, безупречно чистым и неверующим.

Я смотрел широко распахнутыми глазами на красоту мира. Я привык жить немного поосторонь:



не из-за скверного характера, а потому, что хотел сохранить в себе (биологические?) шансы, о которых мои товарищи не имели ни малейшего представления, и я нуждался в молчании. Все было чистым во мне – жизнь и помыслы. Видеть лазурь и жить так, чтобы сердце билось от волнения.

Осушенные бассейны для купания, белые скалы, труднодоступные известняковые уступы. Защищенная от ветра бетонная лаборатория, закрытая железной дверью. Небесная лазурь была ярко-голубой, почти фиолетовой – как небо в Заполярье.

49

Я любил простор, свет и был достоин красоты этого мира. Мои блокноты: набор самых красивых знаков, предназначенных для новой, солнечной расы.

Я вел скотину по зеленым склонам, подгоняя ее камнями. Ни облачка.

Я был чувствителен к волнам, солнечным лучам и тяготел к наукам.

Этим весенним утром в Алжире дул ветер из самых верхних областей неба. Я сел в траву, раскрыл книги, положил свою флейту и позолоченную табакерку на камни. Я понимал, что примитивен, но подспудно сознавал, что точно так же примитивны расы, остающиеся в Истории.

Я увидел на скалах дом Абдаллы.

Вокруг загонов бродили кобылы и жеребята. Мне нравилось ездить без седла и поводьев на утреннем ветру: лошади и служители знали меня.

Я скакал галопом по альфе, сжимая крепкими ляжками бока красивой кобылы. За нами бежал ее простодушный жеребенок с большими живыми глазами.

В полдень мы поели на скалах. Вы не можете себе представить, как приятно обедать с человеком, верующим в Бога! Мы лишь слегка перекусили. Я взял его за руку:

– Я люблю вас.

– Я тоже тебя люблю.

Я уснул на солнце.

50

Мы рано ложились спать в ледяном, плохо освещенном дортуаре. Мои товарищи не зря считали меня дикарем: поделись я с ними воспоминаниями, они бы лишь утвердились в собственном мнении. На самом деле, я был счастливее их, ведь они тосковали по Франции. Они подозревали об этом и слегка ненавидели меня: моя жизнь сильно отличалась от их жизни.

Какое-нибудь воспоминание внезапно заставляло меня вздрагивать от радости под одеялами, в свете тлеющих головешек.

Я часто отправлялся на север. Вечером очень быстро темнело. В самой чаще пихтового леса я постучал в порог длинной арабской фермы, защищенной стенами из красного камня. Лай собак, затем – горная тишина. Я постучал снова. Мне открыл мальчик: входи.

Меня чуть не сожрали заживо трое или четверо псов. Придерживая свою лошадь за уздечку, я пересек двор, превратившийся в трясиину. Сильный запах хлева. Он жил там с братьями, сестрами и кузенами – без отца и матери... Когда его братья уснули, я подошел к нему. В темной комнате я ориентировался по дыханию на его губах. Мы обнялись, но больше ни на что не отважились, ведь братья были поблизости... В этом доме, посреди ночной мглы, все мы были очень молоды.

От мальчика пахло смолой, глаза его были свежи, как соседний лес, а тело – горячее, страстное. Наши пальцы соприкоснулись. Я бы не соблазнил его сестру, но между мальчиками, под одним одеялом, не случается ничего дурного.

Наконец пришла настоящая весна.

Науке ничего не известно о жизни – я достаточно наблюдал за стадами, чтобы в этом убедиться. Не говоря уж о злоупотреблении антибиотиками, примечательно, что скотина, содержащаяся в овчарнях, чувствует себя хуже, нежели та, которую выпускают на волю в степь. Животные нуждаются в земном магнетизме и излучении, нисходящем из верхних слоев атмосферы, – интуитивная догадка, возможная лишь в определенных условиях покоя и безмолвия (безмолвия древних религий). Об этом не говорилось на моих курсах, и в данном вопросе меня живо интересовало мнение индусов и японцев. Молодые тадмитские французы не имели ни малейшего представления об этом уважении к жизни: все они занимались лишь тем, что ссорились, оскорбляли туземцев да пинали скотину. (Я видел, как Юбер кромсал скальпелем еще живую плоть умирающих ягнят.)

Я решил сберечь свою душу, остаться чистым – дать смелый отпор.

Как-то утром я отправился в бричке по белой дороге: стоял с уздечкой в руках и, напевая, вертел ею над головой. Я оставил экипаж у Абдаллы и ушел со стадом. На берегах вади я увидел поля зеленой пшеницы. Шагая в полотняных брюках и куртке с меховым воротником на голое тело, вдыхал чистый воздух. Лопастни ветряного двигателя иступленно вращались. Я потерял из виду последние тадмитские тополя и был одинок под небесной лазурью. Я сел в траву.

Облокотившись о камни, я писал предложение за предложением: так моя мать шьет себе одежду из кусков шерстяной материи. Я любовался весной – весной мира, желто-зеленой степью, напоминающей непальские поля.

На алжирских высокогорьях небо ярко-голубое. Безмятежно размышлять в одиночестве. Разве склонность к анализу, особенно к изучению света, слишком французская и слишком современная? Яркое солнце уже припекало мне голову. На камнях, белых под ясным мартовским солнцем, я достал из кармана блокнот, цветные карандаши и стал рисовать окрестности.

Семеро братьев или кузенов стерегли скотину высоко в горах, у больших красных скал. Старший сидел верхом на муле, положив посох ему на шею. Кавалькада под небесной лазурью – зрелище для посвященных. Он резво спрыгнул наземь, предложил мне побороться. В схватке он был задорен, но не жесток, и страшно весел. В ту минуту, когда мы стиснули друг друга с такой силой, что стало уже не до веселья, он расслабил мускулы. Его лицо оказалось рядом с моим на весенней земле, напоенной водой и пылью, и, закрыв глаза, он сказал: «да», обнимая меня за шею. На виду у всех он поцеловал меня в горячие губы.

– Иди с ним, – сказали мне братья.

Мы поднялись на вершину небольшого холма. Там, между белоснежными глыбами, находился бетонный каземат, куда мы и вошли. Братья удалились. В помещении с непристойными надписями я притянул к себе нового друга.

Весеннее утро двадцатого века.

Военные обычаи? Солдатские и пастушеские нравы? Он порылся в холщовой сумочке, которую я носил на поясе, достал оттуда блокноты, книги.

– Я люблю тебя, – сказал я ему.

На лугу поцеловал напоследок его плечи, руки его братьев и спустился к равнине и вечерним теням по золотистому песку тропинки, омытой дождем. В пихтовом лесу я уселся между стволами на душистые веточки.

Я видел, как лазурь долго боролась с темнотой и как загорались звезды. Моя жизнь. Я слышал шаги лошадей, которых вели на водопой к голубому озеру, и крики стад, возвращавшихся из степи алжирским вечером.

Несколько дней я следовал по пятам за геодезистом, переходя с одного холма на другой. Он устанавливал теодолит на высоте и просил меня размахивать в ста метрах большой вехой. Я любовался небом – подручный геодезиста с рейкой на плече. Я отбился от рук и твердо решил уехать из Тадмита.

54

В пять утра я поднялся к форту. Горы с острыми пиками были еще погружены в ночную тьму. Климат меня устраивал – я любил мороз и степной воздух. Белая феерия дворов в первых солнечных лучах всегда вызывала изумление и восторг. На бетонном пороге, перед уходом геодезиста, в рассветной тишине, безмолвии и покое спящей земли, я нюхал табак. Золотистый воздух предвещал безоблачный день. Беленый Тадмит с железными дверями блестел на восходе солнца.

Я вошел в овчарню. Схватил ягненка за руно. У меня были свои любимчики, и пока все стадо со страшным шумом проходило в глубь тюрьмы, я любил его на теплой подстилке, влажной от мочи, стоя на коленях и придерживая за голову, – любил с такой же страстью, с какой совокупляются самцы. Его шерсть гладила мне живот. Сидя передо мной на задних лапах в молитвенной позе, он уступал моему напору с какой-то восторженностью и весельем. В темноте хлева он удовлетворял свою потребность в наслаждении и любовных объятьях. Я доставал до внутренностей его молодого и теплого живота, и его человеческое счастье звалось любовью.

Я изголодался: та же чуть хмельная радость, та же сердечная нежность, что и после причащения в Тибирине.

Я ушел с геодезистом.

Золотые солнечные лучи исполосовали прозрачную лазурь. Над степью непрестанно дул холодный ветер. Я шел по перламутровым камням, мое шерстяное пальто стягивал на талии ремешок из альфы.

– Так, значит, ты в Тибиристине жил? – спросил геодезист.

– И там же исповедался.

– Вот как...

– Я сознался, что ходил к девкам. «Я вижу, ты искренне раскаиваешься, сын мой», сказал мне святой отец.

55

Мой поступок развеселил его. Это был сорокапятiletний мужчина, одетый, как авиатор 1914 года, геодезист до мозга костей. Мы сделали привал на склоне. Я достал из карманов сахара, поделился с ним и развел костер. Выпив кофе с перцем, мы продолжили измерять местность. Спокойствие и многоцветная красота высокогорий на подступах к Сахаре очаровывали. Там были луга, ручьи, белоснежные валуны. Бегать по камням с вехой в руке («Оп, оп, правее – всё, не двигайся», кричал геодезист) – эта работа на просторе мне хорошо удавалась. Мир в душе! Моя улыбчивая серьезность.

Пустыня неодолимо манила: большие полосы вечных снегов лежали на гребнях, а за ними тянулись золотистые пески, оазисы...

В полдень я уехал на грузовике, перевозившем в Джельфу древесину. Стога альфы окружали вокзал желтым сиянием – все золото высокогорий. Я немного поработал на перронах, сказал, что хочу в бордель, и ушел... оставив Тадмиту в подарок деньги, которые мне остались должны.

Ясным весенним утром в Алжире нет ничего радостнее небесной лазури и жизни. Множество животных топтались копытцами на каменных плитах рынка. Главную площадь защищали зубчатые стены и бастионы. Крики скотины поднимались вместе с золотистой пылью в лазоревое небо. На земле, все еще твердой от мороза, продавалось все на свете. Прислонившись на солнце к стене, я нюхал табак невдалеке от фонтана. Холодный ветер звенел в бескрайнем небе, прозрачном на границах с Западом. Молодые кочевники в накинутых на плечи белых шерстяных одеяниях, уже высокие, веселые и возмужалые, толкали вперед баранов и мулов, привязывали их к каменным столбам.

Тихо и спокойно я поднялся в бордель. Ветер разгонял голубой дым над розовато-серой черепицей. Его порывы трепали жестяные крыши.

Я не нашел той девчонки, с которой провел целый день. Какая разница, ведь я любил их всех. Мир женщин возбуждал аппетит, мне нравилась проституция, и я не боялся зарегистрированных шлюх. Европейки же меня не привлекали: они ничего не знали о степи, скотине, которую я любил, и ничем не пахли. Всей душой я устремлялся к арабским девочкам, сидящим на корточках на пороге, немного похожим на тибетских и кашмирских женщин – грубоватых горянок с крепкой поясницей и черными косами, благоухавшими сливочным маслом.

Я выбрал девушку. Закрыв дверь – единственное отверстие в комнате, выпил чаю. Горящие угли в глиняном горшке рдели в темноте. С закрытыми глазами девушка отыскивала мои губы, не проронив ни слова. Я стал баюкать ее – легкую,



как дитя. Раздвинул красивые теплые ляжки, дабы лучше и глубже овладеть ею, задрал юбку. От нее пахло хлебом и ладаном. Она включила радио: слышались пронзительные и нежные берберские песни – сначала вдалеке, а потом совсем близко. Радио стояло у меня над ухом. Радость, безграничная сила, пение самой жизни, женский крик, распалая самцов, одобрение радости. Все нежнее прижимая девушку к себе, я любил ее в темноте комнаты, на земляном полу, где, почти невидимая в моих руках, она была еще желаннее: короткое лицо и косы лежали на моем плече.

Как же я страдал в Тадмите без музыки! Жест этой девушки, включившей радио, столь дорогой моему сердцу, тронул меня до слез. Стены были украшены гравюрами: олеографии с исламскими святынями, оазисами, небесной лазурью, снимки алжирских стрелков. Вдруг я почувствовал, что она кончила. Как хорошо двадцатилетнему парню под юбкой у девчонки! Я пообещал вернуться, поцеловал ее, как сестру. В удивлении я заметил снег – так резко изменилась погода, пока я занимался любовью.

В злачном квартале есть всё на свете – бакалейные лавки, бани. Смеркалось. Бакалейные лавки живо притягивали: всевозможное барахло сияло там тысячей огней. Перед тем как вернуться к своей женщине, я накупил блокнотов и карандашей, а ей – белые хлопчатобумажные трусики. Сунув свертки под мышку, постучал в ее дверь. Она была с клиентом. Я подождал на улочке, под снегопадом. Луну застили облака.

Ее сестра из соседней комнаты заманила меня к себе, попросила денег на керосин, сходила в бакалейную лавку, вернулась и зажгла лампу.

Если бы она заменила сестру, на которую была так похожа, я бы не стал возражать. Она развернула мои свертки и увидела трусики. «Купил для твоей сестры». Она их надела и стала на колени у пламени, я нежно приласкал ее.

– А зачем трусики? – спросила она.

58

Я ничего не ответил. Хотелось ли мне девочек из Франции? Ей было лет шестнадцать. Трусики пришлось в пору. Она сняла резиновые сапоги. Более степенная и возмужалая, чем сестра, она отдалась без спешки, и, занимаясь сексом, я думал о своих делах. Мои наклонности и мечты были незнакомы берберам. Помимо учебы на ветеринара, меня увлекали новые отношения человека с миром, новое определение человека. Вернуться в Тадмит, следовать за кочевниками, жить в палатке? Как прекрасны языки пламени! Вскоре, закрыв глаза от наслаждения, довольный собственной жизнью, я энергично кончил.

Она подбросила в очаг дров, поставила на горящие угли требуху. Дверь стучала на ветру. После жестокой степи я наслаждался теплом огня, который она раздувала, стоя на коленях перед головнями. Я схватил ее за плечи – широкие плечи горянки – и за косы, привлек к себе.

– Отпусти, – сказала она.

Привыкнув к мужским повадкам, она не могла бы жить иначе в своем племени: разбросав поленья, ключиком притушила лампу и позволила мне совокупиться с ней, как со скотиной. Керосиновая лампа испускала сильное тепло посреди теней и отблесков пламени, плясавших по комнате. Огонь разгорячил мне кровь, и мой член стал твердым, как дерево, под широкими юбками моей девушки.

Я поел с ней и ушел.

В сером небе проступали голубые дыры. Свежий снег блестел на крышах Джельфы.

Ночные блуждания всегда были самым любимым моим развлечением. Я пошел посмотреть на главную улицу; револьвер в сапоге натер лодыжку до крови. Дети просили милостыню у дверей кафе, вдыхали у каждого входа и выхода запах анисовки. Опасаясь привлечь своей хромотой внимание жандармов, патрулировавших улицы, я вытащил в темном уголке оружие. Двадцать второй калибр тяжеловат. Ствол был липкий от крови. Я спрятал револьвер под одеждой. Из кафе-баров доносился смех, мерзкие крики. Я в изумлении остановился перед цветными репродукциями. Еврей-парикмахер перемешал Ван Гога с косметикой, лосьоны для волос с «Сокровищем мужа», а снимок своей покойной жены – с этрусскими некрополями. Электрические лампочки и сердечки из серебристой бумаги подсвечивали всю эту еврейскую феерию.

59

Дрожа от холода и прижав лицо к стеклу, я увидел египетскую статуэтку на почтовой открытке: лучезарное, чуть золотистое видение – она светила в ночи, с широко открытыми глазами, тиарой на голове и скрещенными на груди руками, державшими бич и железный крюк. Одно из первых человеческих изображений. Мне удалось прочитать: «Луврский музей».

Вот так приключение на краю Сахары! В наши дни образование стало благодаря книгам и картинкам настолько доступным, что в любом крупном африканском поселке можно узнать обо всем на свете: по чистой случайности я столкнулся с искусством.

Пьяный от ветра и одиночества, я отправился ночевать в форт с черепичными крышами, покрытыми снегом, у самого выезда из Джел-фы. Мне выделили койку в тюрьме, и я тотчас забылся глубоким сном. Какой это был сон! Сну я обязан всем, верю в него и хочу, чтобы вы знали: сон – это залог грядущего. Прежде чем зажить по-настоящему, нужно выспаться. Словно скотина в глубине хлева, укрывшись с головой одеялами, я питался сном так же, как сосал грудь матери – с закрытыми глазами, трепеща от радости всем телом, высасывая жизнь в чистом виде, без всяких грез.

До меня доносился шум: скрип заснеженных крыш, далекие крики стад. Кровь обжигала жилы, испуская невероятное тепло, словно подземный поток. Я провалился во тьму – блаженную тьму.

*Март, 8 часов утра. В степи.*

Когда рассеялся туман, я увидел один из самых прекрасных пейзажей на свете: страну зеленых и желтых холмов, где дрожали на ветру альфа и шир. Синяя горечавка. Тут и там – мягкие всхолмления, тени облаков, лавры. В божественной радости высокогорий шагал я на север. Необычайная молодость форм и покой будили во мне жажду жизни. Повсюду царили тишина и безмолвие.

Смогу ли я пробудить интерес, если не буду писать? Я был молод – очень молод. Сила и девственность воздуха, яркие цвета земли и неба сулили успех.

Я оставил товарищей, которые орали в поле, делая вид, что занимаются гимнастикой, и, умываясь, мутили воду в ручье. Я остался один.

Взобрался на огромный холм. Против солнца плыли облака. Все было светлым и прозрачным. Я увидел цветущие поля. Ни единого деревца в безлюдном поле. Ни единого звука, если не считать завывания ветра на хребтах – его долгих редких вздохов.

Я потерял из виду горы: лишь изредка заснеженная вершина торчала посреди какого-нибудь зеленого луга – чистейший алмаз под небесной лазурью. И какой лазурью! Насыщенная синь, беспрестанно овеваемая ветром.

61

В безмолвной ложине – светлом раю с большими перламутровыми камнями – снял я красные сапоги и пошел дальше быстрым широким шагом. На цветочном поле, вновь оказавшись на ветру, заметил бетонный лабиринт для сортировки баранов. Было ясно и тепло. О, символ вечной молодости человеческого духа – тот сортировочный пункт, где я танцевал, дворы и бассейны для купания!

Я любил оставаться один, голый по пояс и босой. Канюки парили высоко, кружась против солнца.

Стоя на травянистой кочке, я зажмурился от счастья. В полдень, внутри лабиринта, раскрыл свой гербарий среди безмолвного солнечного поля, свой сверток с цветными репродукциями и наткнулся на Возничего из Дельф, – столь близкого мне и моему сердцу, – поразительно зависшего между религиозным чувством и древнегреческим атеизмом.

Я был счастлив и совершенно свободен. Я вознес руки к солнцу.

Моя столь чистая жизнь становилась жизнью вечной – умная, тонкая мысль. Да, это новая раса неверующих, живущих в согласии с землей

и небом, на краю Сахары. Прощание с душевной и духовной нищетой Запада; любовь к эксперименту, образцовой жизни; искренность, которой благоволит девственность высокогорий.

Дневник, написанный на камнях. В степи мне нравилось всё: свет, безмолвие, солнечные лучи. Я был учащимся животноводческой школы, и моя искренность была недалеко от былой чистоты религиозных чувств.

62

Я пошел дальше и сделал привал на скалах, куда положил свой револьвер.

Я угадывал жизнь, нисходившую из верхних слоев атмосферы: спокойные и чистые взгляды, влекущие за собой несчетные последствия.

Был ли я аморален? Дневник. Более того! Эксперимент – в буквальном смысле слова. Попытка слишком современная, слишком французская – из-за любви к реальности и явному удовольствию от совмещения технического совершенства с ясностью ума. Новый взгляд на жизнь.

Вечер был необычайно теплым, я вернулся в лагерь.

Золотистый воздух. Я пересек каменистую равнину, изрытую капризными водами вадитадмит. Ничто не сравнится с безмятежной красотой этих высокогорных долин. Меж камнями текли тонкие струи голубой воды.

В пихтовом лесу молодой кочевник стерег коров, у него было красивое, округлое лицо. Он обратился ко мне, ломая нижние веточки. Тьма сгустилась. Наши сплетенные пальцы опирались о кору, из-под которой сочилась смола. Мы оба изнемогли и упали на душистые сучки, на землю, твердую от мороза.

Его грудь покрывали лохмотья. Наступила ясная ночь, которую тревожил лишь собачий лай. От мальчика пахло жиропотом и дымом: большие пастушьи глаза, темные следы грязи на лице. Сжимая друг друга в объятьях под деревьями, мы были счастливы. Его полотняные брюки стягивала на талии веревка. Он накинул на меня полу своего плаща. Бедра у него были теплые, нежные. Я поцеловал его в губы. Со мной он оставался серьезным, лишь слегка взволнованным и не проронил ни слова, пока я его ласкал. Губы его соленые на вкус – чистые и свежие, как ночь.

Он носил короткую куртку «Люфтваффе», из черного или очень темного сукна. Мороз, запах чабреца, смолы и сильная страсть опьянили меня, наполнив радостью. Он встал. Прислонившись плечом к дереву и обнимая мальчика за талию, я стиснул его ладонь. Луна мягко освещала хвойный лес.

Он отправился в погоню за скотиной между стволами, а я вернулся в лагерь, где узнал, что мои товарищи, уже несколько дней жившие в степи, каждый вечер ложатся спать в доме у родника.

Я нашел их в комнате с разложенными постелями, где они беспрестанно ругались с Юбером, жалуясь на суровый климат, и вели нелепейшие разговоры. В небольшом камине горел огонь, на медном подносе мне оставили немного мяса.

Лежа у горящих углей и укрывшись с головой одеялами, я сомкнул глаза.

Я размышлял над тем, что они думают обо мне. Такие несчастные в Алжире, они хорошо чувствовали, что я им не ровня, хоть и ношу французскую фамилию, что я даже не араб. И уж тем более не был я «господином», даже если они предполагали, что я получил какое-то образование.

Самое распространенное мнение было таково: я внебрачный ребенок, более или менее свыкшийся с туземной жизнью. Так кто же я? Я и сам не знал. Отсюда – мое неслыханное опьянение любовью и всеобъемлющая радость жизни. Я уснул, представляя, что все еще прижимаю к сердцу своего друга.

64

В полночь я вышел в сад. Ночь была ясная, прозрачная. Луна освещала цветущие деревья, бесплодные склоны. Ледяная вода орошала поля желтого ячменя с двумя-тремя тополями, сад, залитый лунным сиянием, где я сделал пару шагов в безмолвной морозной ночи. Я отошел чуть дальше от этого дома в степи с розоватыми стенами и черепичной кровлей, куда собирался вернуться, дабы уснуть в любовных грезах. Я достал из-под шерстяного пальто флейту и заиграл.

Вдалеке горы поднимали свои острые пики и отроги, изрезанные голубыми долинами.

Утро в степи: лечение гастроэнтерита.

В небесной лазури – ни облачка. Когда приходилось лечить баранов, мы с Юбером заходили в большой каменный загон. Хватать за рога скотину весом пятьдесят-шестьдесят килограммов, которая внезапно бросается на тебя, – это довольно опасно. Но Юберу смелости не занимать. Он высмотрел самца и повалил его на землю. За мной наблюдал баран с красивыми острыми рогами, скребший желтую солому. Он сам напал на меня, чуть не загнав рога мне в живот, и скорой, ловкой рысью, по-прежнему свободный, смешался со стадом в глубине загона.



С открытого простора долетали порывы ветра. Тут и там – луга, размытые тающими снегами, скалы, морены.

Я сделал пару шагов и получил удар барана прямо в живот. Скорчившись от боли, стиснув зубы и чуть не плача, я прислонился к стене и потерял сознание.

Очнулся на траве. Когда я оправился, деревянную калитку открыли снова.

Каким прекрасным было это весеннее утро! В соседнем загоне вздрагивали кобылы, гривы развевались на ветру.

Я сделал пару шагов... живот еще болел, но я набросился и завалил-таки большого барана, выйдя победителем.

Юбер ворвался в загон, затем мы вдвоем бесстрашно накинулись на стадо вместе с пастухами.

Сжимая в руке шприц, я привил больше сотни баранов: они то дрожали от страха, то оставались смирными в руках кочевников, а после укола тотчас вскакивали.

Юбер оседлал лошадь и решил сесть на нее прямо в загоне. Земля затряслась от опасного, жесткого галопа.

Я отправился к холмам, надеясь вновь встретиться с другом. Да, я был моложе французов, возмужалым, но не таким, как они. Голый по пояс, в синих брюках, испачканных грязью и стянутых на талии веревкой из альфы, я смотрел на заснеженные хребты и солнце.

Я заметил своего друга высоко над хаосом скал, с мальчишкой помоложе. Я добрался до них в утреннем свете. Их стадо разбрелось по холму. Зачем ему нужен младший брат? Скоро я это пойму.

Оставив стадо под присмотром ребенка, он спустился со мной по другому склону.

Я побежал вместе с ним по скатам, посреди высоких весенних цветов. Над холмами гудел ветер.

Зацепив за волосы мотоциклетные очки с черными стеклами, я прыгал с камня на камень. Сколько ему лет? Шестнадцать?

66

Мы пришли в деревню. На крышах сушилась солома. Лестница, вырубленная в балке, вела в верхнее помещение общего амбара, где он меня и оставил.

В решетчатое окошко виднелись горы. Никакой мебели – две-три циновки и сундук.

Он вернулся с мужчиной лет тридцати, необычайно веселым, хищным и худым, в форме алжирского стрелка и кавалерийских сапогах. Они там жили: показали мне одеяла в углу, заварили чай. Мне было хорошо у них, подобный быт меня устраивал, именно такую жизнь я и любил. Я открыл свою позолоченную табакерку, и мы понюхали табак. Я показал револьвер.

– Двадцатизарядный?

– Да, хотя нет. Десятизарядный, с запасной обоймой на девять патронов.

Все, что я доставал из карманов, переходило из рук в руки. Оружие положили между чашками.

– Поцелуй друга.

Я охотно повиновался. Мужчина взял красный кожаный ремень. Когда я лег подле друга, лицом к лицу, закрыв ладонями глаза, он стегал нас обоих одновременно. Наши сомкнутые губы вздрогнули от ожога в одну и ту же секунду. Он оставил нас, сказав, что просто хотел увидеть нас счастливыми.

Плечи горели. Я открыл глаза. Один довольно жестокий удар пришелся ему прямо по лицу. Я не боялся. Похоже, он спал. Он улыбнулся мне, еще с закрытыми глазами. Притворный сон пробуждал во мне радость жизни. Я знал, что он чувствует, и мою безудержную радость ничто не омрачало. Я любил его, он был рядом, и мне нравился этот день моей жизни. Он открыл глаза, я нежно поцеловал его в губы, прикрыв рукой его лицо.

– Спасибо, – сказал он.

67

Мне нравились кротость и серьезность этого степного мальчика, в армейской шинели на голое тело, великоватой для него: он находился так близко и был настоящим другом. Мы лежали плечом к плечу, обнявшись, еще взволнованные после полученных ударов. Горло у него было горячее, черное от грязи, а взгляд – спокойный и чистый: такой я и представлял себе любовь. Мы были нищими.

На степь спускались синие вечерние тени. Я сел на лошадь, радостно поскакал и решил заночевать у Абдаллы.

Поднялся в его контору и обнаружил, что он пишет длинное донесение по какому-то земельному вопросу, справляясь во французском словаре.

– Поможешь мне.

Я признался, что не знаю ни синтаксиса, ни орфографии.

– Но ты же француз!

В этом-то я и сомневался. В конце концов, заглядывая в словарь, мы с грехом пополам дописали его жалобу начальству.

Я пошел и сел на пороге: ночь была прекрасна. Около одиннадцати слуга принес тарелки, и мы поужинали на скалах, при свече.

Под утро меня разбудил грузовик, прибывший из Тадмита с камнями и мешками цемента. Из него вышел Юбер. Нужно было соорудить новый загон, и мы принялись за дело.

В синем ночном небе еще светили звезды и луна, когда я начал строить с мастерком в руке.

Ничто не сравнится с чистотой зари. Наверное, из-за того, что в моих жилах течет азиатская кровь, я мечтал о появлении нового человеческого типа, более приспособленного к жизни на земле. В отличие от моей свободы, образцовая сторона моей жизни в Тадмите была вполне советской: в Тадмите пытались вывести новые породы, но создание нового человеческого типа гораздо важнее. Под утро, в рассветный час, я был еще сонный, мечтательный и умиротворенный.

«Сон – глубокое удовольствие и необходимая радость». О, чары сна, который считается неисчерпаемым источником жизненной силы и грез. Моя жизнь в степи была лишь грезой. Был ли я смиренен, чист? Прежде всего, я спал – на мой взгляд, это единственная подлинная искренность. И я был чист, как древние греки, которые, наверное, вели такой же образ жизни, как я. В ночной темноте степь была синей.

В десять часов сделали перерыв. Стройка сияла на солнце. Стояла прекрасная погода. В бескрайнем воздухе звенел холодный ветер. Холмы на севере были покрыты пихтовыми лесами. Наши камни и стены – перламутрово-белые. Мои губы растянулись в улыбке: да, это весна, весна моей жизни и – почему знать? – быть может, новая весна Человечества.

Я влез на скалы. Какой работник пляшет от радости на восходе солнца? Я был беден: един-

ственная моя роскошь – две пары рваных шерстяных носков, которые я носил одну поверх другой под сапогами.

Я отправился в Тадмит в конном экипаже: двухколесная открытая повозка, кажется, называется бричкой? Я мчался во всю прыть, стоя с поводьями в руках. Дорога проходила близ известняковых холмов. Голый по пояс, повязав меховую куртку на талии, я пел в утренней тишине. Моя кожаная шапка на ремешках съехала на затылок, и я хлестал лошадь. Ни облачка. В безлюдном поле блестели большие каменные глыбы.

69

Я прошагал во двор форта и узнал, что впредь рабочий день стажеров будет строго регламентирован.

Такая пастушеская жизнь меня устраивала. О, нежное пение флейты! Стада возвращались с гор с долгими, печальными, нескончаемыми криками, отворяя на ходу железные калитки. Ягнята, которых днем держали в овчарнях, встречали матерей щемяще-печальными воплями. Я узнал, что в Сахаре был дождь и что я отправляюсь на юг. Я увижу пустыню, которую так люблю. Вечерний воздух был уже по-летнему теплым.

Чем объясняется очарование Африки? Криками собак в ночи?

Я быстро дописываю блокнот.

Еще один день в Тадмите! Это был выходной.

После ухода стад форт показался заброшенным. Сфотографировались на солнечных крышах.

Местные работники спали на солнце,

в воздухе висел запах фуража.







В центре огромного каменного карьера высится город Гардая, охраняемый по вечерам патрулями с пулеметами.

Я любил арабскую музыку и, слушая ее, предвкушал любовные объятия: ведь нет ничего прекраснее любви, и ничто не устремляется так же далеко, но только это любовь не ко всем людям, а к товарищам по приключению – любовь, рожденная у костров.

В конце улицы, у выезда из города, почти в начале пустыни, я заметил местного мальчика, высокого, лет восемнадцати, с красивыми округлыми плечами. Нас разделял костер. Он был очень беден, спокоен и серьезен, с кочевническими повадками. Он наблюдал за мной давно. Ночь была тепла и прекрасна. Я пытался поймать его взгляд. Он отправился к скалам, и я вошел вслед за ним в темноту. Я поцеловал его в губы, но он не ответил, назначив мне свидание на дальнем хребте, наверху карьера.

По странному уговору мы направились туда разными тропами в хаосе скал. Вскоре мои глаза, привыкнув к темноте, уже не видели ничего, кроме ясного неба и огромного темного холма – еще

теплого и опасного. Я пошел дальше по камням, с револьвером в руке, и добрался до мальчика. С радостью прижав друга к груди и поцеловав его лицо, я забыл о страхе. Он ответил на мои поцелуи с такой страстью, что у меня выступили слезы.

Если бы Бог существовал, я сказал бы Ему: вот что такое вершина блаженства. Я не боюсь встретить смерть за такую любовь; сладострастие, которое Ты вложил в наши тела, мы извергли на Твои камни под небесными светилами.

Мы прислонились к скале. Пистолет у меня на животе блестел в темноте. Стоя плечом к плечу, мы молча смотрели на черный океан неба, по которому плыли огромные белые облака. Он вытащил из-под пастушьей одежды длинный прямой кинжал. Возможно, для этого мальчика, пришедшего из далекого прошлого, я был всего лишь двойником, просто лучше вооруженным? Там наверху мы продолжили, прижимаясь голыми черными бедрами к белой скале в ночном полумраке.

Он ушел, а я спустился по камням, с револьвером в руке. Я вернулся в город, где французские чиновники со своими румяными женами и дочерьми рассматривали освещенные лавочки на торговой улице: я купил там хлеба и пузырек душистого брильянтина. Пустыня была так близко – безмолвие скал и песков. Я прислонился к стене на углу этой улицы и гардайского рынка: свет из подсобного помещения бакалейной лавки мягко озарял мне лицо. Я заметил его, наши взгляды встретились, но затем он исчез в толпе. Я уснул на рынке древесины, на другой стороне города, в запахе костров, соломы и золы, прислонившись головой к грузу из кедров, посреди геометрии города и неба.

Я достал свой автоматический пистолет: черный металл тускло блеснул, ствол уже порябел от контакта с кожей. Поразительно уравновешенное оружие, именно так я представлял себе произведение искусства – страшное орудие нападения и защиты.

Я любил все признаки двадцатого века, когда ночь демонстрировала их моей изумленной чистоте под луной, и совершенство некоторых предметов, которые довольно легко раздобыть: оружие, пластинки.

Я поцеловал револьвер, извлек из него обойму: молчаливый праздник, целая вселенная у меня в руках, кричащая от желания любви.

В апреле началась стройка в пяти километрах от Гардаи – там, где дорога после каменного карьера наконец возвращается к обычному уровню пустыни. В этом районе долин и массивов, изрытых эрозией, уже становилось теплее, а ночи были не такими ледяными. Громадный карьер.

Как-то утром, в одиннадцать часов, отойдя от стройки во время кладки, я заметил своего друга, стоявшего на холме. Я побежал к нему, поднимаясь к небу.

Пришлось взбираться по большим белым камням, которые уже пекло солнце. Словно по ребру пирамиды.

Я потерял мальчика из виду, но затем он вновь появился наверху склона, выделяясь на голубом небе. Я узнал его высокий силуэт, шерстяную одежду, круглое улыбающееся лицо.

Я побежал к нему и увидел, как он исчез в одном из проходов скалистого лабиринта. Он ждал меня там молча, щурясь на солнце. Наверное, он тоже

работал на стройке: под своей пустынной одеждой, выцветшей на свету, он носил рубашку и рабочие штаны – рваные, из синего полотна.

76

Он безмолвно смотрел на меня. Я положил руку ему на плечо. Тогда он отбросил всякий страх и с радостью обнял меня. Обхватил мой затылок и с жадным наслаждением прижался своими губами к моим – очень крепко, чтобы доказать свою любовь. Распахнул на себе одежду, обнажив горячий, крепкий торс, пропитанный сильными запахами. По бороздкам вокруг глаз и ноздрей стекал едкий пот. Он показал свое тело и предложил последовать его примеру, что я и сделал, оставшись в одних кожаных туфлях. Его губы вновь потянулись ко мне. Он поцеловал мой лоб, глаза, горло. Сбросил на камни свое белое шерстяное пальто.

На кремнистом ложе мы обнимались за гибкие талии, прижимаясь грудью, набивая синяки о щебень. Я вставил между его бедрами свой красивый заостренный член, предварительно смазав его золотистой оладьей.

Солнце было уже почти в зените. В разгар дня моя белая сперма текла по его теплым ляжкам с едва зарубцевавшимися ранами. Мы лежали бок о бок на белоснежных камнях, высоко в гардайских скалах.

Огромные горы блестели на солнце. Мы укрывались от нескромных взглядов посреди скал, облокотившись на камни. Он встал. Я поцеловал нежную темную кожу на плечах кочевника, его горячие губы, износившуюся в пустыне одежду.

Он слонялся вокруг лагеря – чуть поодаль, без дела, бесцельно, молча, точно чужак в горо-

де: расхаживал тихо и спокойно, закинув посох на плечи, с видом пастуха, готового скрыться за холмами.

Вечером я заметил его на алых склонах. Он спустился в небольшую долину – нежную, как первые вечера творения. Я пошел по тропинке, заткнув револьвер за пояс. Его шаги издали направляли меня, а затем наступило безмолвие – чудесное безмолвие сумерек. Он ждал меня на песке. Казалось, я знал его всегда, он был моей душой, пришедшей из далекого прошлого, от него пахло широм и чабрецом, а губы его были свежи.

77

Он положил нож на камни. Обнимая друг друга липкими пальцами, мы готовы были умереть от радости.

– Я твой брат, – сказал он.

Он взял нож и, напоследок поцеловав меня в губы, ушел в густеющий мрак.

Апрельская луна освещала большой каменный карьер и ясное небо. Арабские рабочие пели у костра. Там наверху, посреди теней и отсветов пламени, я предался своей радости. Веселое пение вознесло меня к созвездиям, их расположение и блеск явились мне в новом великолепии.

Полная луна озаряла каждый камешек, самый отдаленный овраг.

Гардая сверкала тысячей огней – ярких вблизи, тусклых вдалеке. По-моему, нет ничего современнее этой восхитительной геометрии, этой страны, опустошенной эрозией, и луны.

О, нежность и печаль той ночи! В первом зале борделя, под расписными сводами, он слушал музыку, прислонившись к стене. В шерстяном плаще, наброшенном на плечо, со стофранковой

купюрой в руке, вошел он в девичий двор, но был так беден, что никто не согласился. Он вернулся в первый зал. Щемящий плач скрипок из громкоговорителей был слышен даже на улочке. Арабская музыка – это всегда любовная и свадебная песнь. Наши взгляды встретились, в головах пронеслась одна и та же мысль: скрипки поют для нас. Он улыбнулся мне самой прекрасной улыбкой на свете, пустыня наделила его лицо божественной прелестью. В его глазах мелькнула тоска по огромным горам, голубым долинам.

Он вышел. Вода оросительных каналов сверкала во тьме у скал и песков.

В хлевах вздыхала скотина. Ясное небо над молчаливой Гардаей: сотня улочек в лунном свете.

Юг обострял мою любовь к краскам, неведомым просторам. Какое место на свете, какой человеческий поступок, какой решающий акцент утверждают власть человека, благородство человека? Моя драма – или мой шанс в двадцатом столетии – заключались в том, что я не художник и должен обрести в реальности, на свой страх и риск, стиль жизни, способный выдержать сияние небесных светил. Мне не давало покоя осознание человеческой истории, на меня нашло дивное безумие одинокого человека в Африке.

Я имел эту карту на руках и собирался с нее пойти.

Ничто не сравнится с той ночной минутой, когда жизнь и смерть обступают своим изумленным безмолвием рождение новой манеры письма.

Манеры письма или стиля жизни? Неодолимый зов увлекал меня в будущее, открытие кото-

рого приводило в восторг. Пустыня, океан, отвлеченное сияние звездного неба... Казалось, я перебираю собственную судьбу в ночной темноте.

У меня на глазах это будущее воплощалось в человеке, чья жестокость прельщала такого дикаря, как я. Наконец-то я постиг неслыханное одиночество этой попытки, о котором мои первые книги давали лишь смутное представление: в нем была сила, способная устоять перед целым столетием.

79

Грузовики отъезжали на юг.

Человек выстроил свою жизнь и даже свой эротизм, обращаясь лицом к ночному небу. В уединении, без женщины и какой-либо иной страсти, помимо астрономии, он воздвиг место на свете, открытое небесам. То, что такой человек существовал, казалось мне гораздо интереснее моих книг.

Француз, член Академии наук, не знакомый с местной жизнью, в 1925 году вновь обрел древнюю гармонию человека и небесных светил...<sup>3</sup> Если француз строит, в этом нет ничего удивительного: поражает то, что он построил первое святилище двадцатого века. Мой дядя, обретший бессмертие в моих книгах, словно сами звезды внушили мне любовь к нему! Мысль об укреплённом музее была подсказана военными борджами, которыми он командовал: умереть в месте, принадлежащем только тебе! Он был соврращен, в сексуальном смысле слова, звездным небом и желал любви (в том числе мальчишеской) лишь

---

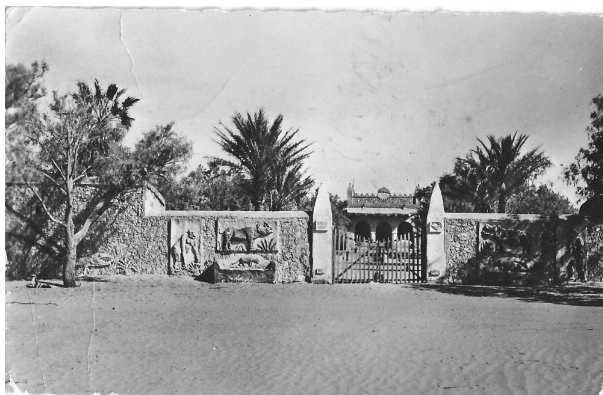
3 Эрнест Марсель Ожье́рас (1882–1958) – французский офицер и исследователь, дядя Франсуа Ожье́раса. Член Заморской академии наук (1953).

на железной кровати, стоявшей на террасе. Это весьма знаменательно в эпоху, грезящую о звездах.

Решающий поступок, нелюдима́я мысль. Через Туггурт, Уарглу... Пустыня еще свободна...







Дом Марселя Ожьераса  
в Эль-Голеа

*Все произведения, которым  
удалось уцелеть, были в глубочай-  
шем смысле слова аморальными.*

Ф. Ницше («Воля к власти»)

# I

Он играл на бильярде – сам с собой!.. Когда человек играет посреди ночи, это пленяет.

Тощий, точно собственная тень. Он был рад вновь меня увидеть. Поставил бильярд в бетонном флигеле, покрашенном красным. При свете лампы он играл с редкостным мастерством, мои способности были скромнее – лишь изредка замечательные удары, которые он объяснял простой случайностью. Игра знаменовала не конец нашей ненависти, а лишь минутное перемирие жаркой ночью.

Я выиграл – с голубым мелком в руке!

Он сложил шары в выдвижной ящик, попросил почитать ему вслух. Сидя в плетеном кресле, которое каждый вечер возвращалось из сада в библи-

отеку, он слушал мой голос – то хриплый и неясный, то чистый. В комнате стоял кислый запах Судана. Когда ему надоел Жюль Верн:

– У тебя было 15, а у меня – 10.

Я записывал: 16, 17, 18, 19.

– Начинать должен был я, – воскликнул он, – я же проигрывал.

Я уступил его доводам.

Его очки: 11, 12. Мои: 16, 17, 18, 19, 20. Его: 0.

84 – 21, 22, 23, 24, 25. – 13, 14. – 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

Я взял его за руку:

– Я люблю тебя.

У него был жестокий, близорукий взгляд. Он ничего не ответил, а я обратил внимание на глаза, звериную повадку, ноздри. Он втянул ночной воздух, понюхал табак.

Под небом, усеянным звездами, он открыл двери, закрыл их, пересек двор, открыл другие двери: он готовился к смерти. Условности, которые он чтит, его слава мешали заметить, что он уже перешел на сторону ночи, охоты, запахов. Он вдыхал ароматы каждого флигеля, держа под мышкой книгу, которую не читал, так как почти совсем ослеп.

Я открыл деревянные ворота, вышел и углубился в заросли, возобновил свою вечную жизнь.

Я вырос под звездным небом – детство, вызывающее «стыд и жалость» лишь у глупцов.

Я любил покой и безмолвие, приключение начиналось там, где затронуты самые сокровенные струны жизни.

Я танцевал.

Во дворе я дышал ночным воздухом. Безграничная мощь сна гармонировала с моим голо-

сом, моим здоровьем под большими облаками в черном небе.

На ум пришли странные слова дяди:

– Как можно жить где-либо, кроме музея?

Удовольствия были навязаны мне силой и со слезами стали моими неизбежными привычками. Я соглашался на приключение и, наряду со страстями своего родственника, принимал тот порядок, что предвосхищал будущее.

Эта книга совратит многих. Ведь свобода людей свободных – это, прежде всего, свобода быть никем, не знать ничего, строить под небесным сиянием, офицер в отставке, состоящий на службе у созерцания (в первую очередь, из-за образа жизни), – это единственный в своем роде порядок.

85

В доме горел свет. Он раскладывал бумаги – он делал это беспрестанно, с тех пор как начал бояться смерти. Я обнаружил его в гостиной, за секретером. Он продиктовал несколько писем и дополнительных примечаний к знаменитому завещанию, которое должно было спасти его музей: не хотел, чтобы его продали «кому попало». Еженедельно почтмейстер получал два-три толстых запечатанных конверта с надписью: «Вскрыть после моей смерти». Затем, в одиннадцать часов вечера, я учил математику. Какой был день? Какой месяц? В Тадмите я вел дневник с точной датировкой, но ее больше не было.

Я вдыхал запах болот, трав и чего-то неуловимо африканского (пепла, меда и смерти).

Я пошел взглянуть на наши ячменные поля, молодые весенние побеги, росшие в ночи.

Стоя на коленях, я исступленно нюхал табак. Я остался у корней искусства, жизни. Оазис и другие люди были далеко...

Наши крыши, выкрашенные белой известью, чертили самое беспощадное уравнивание в моей жизни. Я сделал ставку на двадцать столетий войн, на расу людей, увлеченных абстракциями, привыкших ощупывать формы жестче женских.

Дядя вернулся в полночь и разбудил меня.

86

С другой стороны двора он взбирался по земляной лестнице, одетый лишь в красный армейский плащ и деревянные сандалии. Лестница была очень крутая. Наполовину слепой, он поднимался на коленях, ступень за ступенью.

Красный плащ, висевший на плечах, слишком широкий и просторный, покрывал его, словно пунцовая риза.

Черная Африка была рядом. Он совершал службу, точно священник: неузнаваемый и нарядный, поднимался к небесным светилам.

В огромном красном дворе с привидениями он казался другим, вступившим в ночь. Я весь обратился в зрение, сердце замерло: если даже он оделся так лишь затем, чтобы переночевать на улице, сама судьба облачила его в это одеяние смерти. Я стоял на восточном бастиионе, – том, что виден на снимке, – вырвавшись из тела, мысленно витая в мире духов, а необыкновенный спектакль продолжался. Он поднимался по лестнице медленно, степенно (я и не думал, что он на такое способен), наконец выбрался на крышу.

Я помчался к нему, готовый увидеть лицом к лицу свою вечную ночь, которой желал в объятьях старика, без малейшего отвращения к нему, высохшему и изможденному, словно труп. Я видел небо, усеянное светилами, близкое как никогда, с остротой восприятия и силой анализа, удесятерен-

ными теплой ночью. Ведь каждый из моих жестов, которые следовало пережить (а среди них были ужасные), был всего лишь ритуалом под звездами. В геометрии железной кровати мои уловки были увенчаны таким вечным сном, что я наконец предался своей гордыне. Я уже играл в шахматы на белом сукне и возобновил давно брошенную партию с таким знанием дела, что, видимо, нисколько не утратил своего мастерства: один ум наедине с другим подчинялись лишь законам, придуманным нами в черных небесах. Каждый шахматный ход, выигрыши и поражения демонстрировали нам то, что мы любили больше всего: пшеничные поля под луной, деревья. Вечная игра на белых и черных квадратах шахматной доски, лежавшей между нами на сукне: нам дано было играть после смерти мира. Вечная жизнь наших условностей, уловок – только для нас, наконец-то прозрачных, просвечивающих друг для друга, вместе с тем неизвестным, что необходимо нам для непрерывного продолжения партии.

По возвращении на свою крышу я увидел столь же прекрасную ночь, такое же ясное африканское небо. На болотах журчали родники, пустыня была рядом – с запахом песка и камня.

Я зажег свечу и стал быстро писать.

Я не жалел о том, что меня вырвали посреди ночи из сна, из детства. Эта «игра на черном небе» была произведением искусства. Я сделал ставку на людей, по-настоящему знающих человека, лишенных иллюзий, принимающих джунгли и образы джунглей. Он сказал, что заменит мне отца, и обрел во мне голос, вырвавший его из забвения, из песков пустыни; у него был ребенок мужского пола...

Я страстно погружался в загадку, в которой тотчас сумел распознать наилучшую эмоциональную почву.

Прежде всего, то обстоятельство, что я называл отцом человека, который им не был (своего отца я не знал) и с которым я спал! Под конец появилась одна из самых тяжелых навязчивых мыслей. Он был «отцом моей мечты», как и все, близкое к онанизму. (Я мастурбировал, пока он обладал мною.)

88

Отношения с Богом? Его образ жизни укреплял волю к наслаждению в звездной ночи. Его мог удовлетворить лишь мальчик на большой железной кровати. Один миг напряженного сладострастия в человеческой истории.

Впрочем, после всех своих нескончаемых войн европейцы поймут, что мы были будущим после 1948 года: страх, чтение пары книг, астрономия, цветные репродукции произведений искусства со всего света (сколько книг уцелеет к тому времени?). Они уразумеют, что мы были последним козырем Запада, картой беспощадности и высшего разума, прежде всего в сексуальном отношении.

– Я прошу у тебя не любви, а немного серьезности.

Эту-то серьезность я в конце концов и подарил ему. Без меня его приключение осталось бы весьма ограниченным, чуть устаревшим приключением офицера в колониях, сущей причудой. В моих же руках наша загадка обращалась к людям с вопросом: какая сновидческая сила сравнится с нашей?



Гул насекомых возносился к звездам. Не одно болото, а десять, двадцать – затопленный сад под луной, хищное сияние. Я отправлял свои свертки по почте из Гардаи, Уарглы. Помарки были жирнее самого текста: моя рука дрожала под звездным небом. Считая себя писателем, я рассылал повсюду следы своих страхов, своей иступленной радости – страницы, потрепанные беспощадной пустыней, как неотвязный снимок в начале «Путешествия мертвых». В Гардае я отправил по почте картонные пластинки, которые давно носил с собой. Искривились? Больше не крутятся? Мой мертвый голос – то в одном грузовике, то в другом?..

Но на свежем песке я был свободен. Во мне билась жизнь, которая творит, выдумывает, запускает неведомые образы. Мои страхи и недостатки пробуждали во мне любопытство и желание увидеть лицом к лицу жестокость туманностей.

Ах, как я любил простор! Скромное, первобытное творение, своею красочностью вдохновлявшее мое пристрастие к игре.

Я одиноко стоял на переливающейся равнине, с улыбкой на устах. Облака плыли по черному небу, и неведомые струны моего естества любили его.

Болота блестели на солнце.

Для меня важнее всего то, какими люди бывают и что они способны делать при ясном свете дня.

Я умывался в тазике. В утреннем безмолвии во мне зарождалась жизнь, и я любил ее. Здесь ничто не тревожило покой и рост растений.

Я побрил себе живот: голый, спокойный и веселый, забрал свою одежду с края бетонного колодца. Я был молод, и меня очаровывали бесконечные возможности жизни. С карандашом в руке уселся я на скамью из перламутрового камня, на солнце, рядом с воротами. Над водой дрожал туман, весенние всходы похрустывали в неподвижном воздухе. Я вышел на тропинку.

Я был голоден, и меня обжигало солнце.

В льняном поле я увидел голубое утреннее небо. Над тростниками гудел ветер.

Услышав шаги, я понял, что дядя вышел из дома. Я застал его в гостиной: он завтракал бисквитом, размоченным в вине.

Я работал в полях. Негр принес мне кофе под дерево. (Я быстро дописывал в блокноте.) Я работал в просянном поле. Меня вела за собой радость. Спокойный день.

Птицы, тень дерева. Его окружало необъятное присутствие Африки. Солнце припекало.

Африка: последнее поле экспериментов Запада.

В полдень по небу плыли облака, я смотрел им вслед.

Я взял ключи от доисторического флигеля и пошел туда. В это время года я посещал его в одиночку, и лики богов мне были привычнее, чем лица людей.

Я ужинал на приступке во дворе, а затем работал в библиотеке. Я любил ботанику, астрономию, прилежно учился.

Больше всего мне нравилась математика.

Шум насекомых в весенней ночи никогда не смолкал. Самую большую радость доставляло изучение абстракции, чисто мысленного творчества, образцового места: идеального квадрата, защищенного зубчатыми бастионами, и огромного двора под открытым небом. Это восхитительное уравнение приводило чистую душу молодого дикаря в восторг.

В моей крови пульсировали мощные, ярко выраженные наклонности: речь шла об окончательной направленности человеческой истории. Я взял ружье, пригоршню патронов и пошел спать на крышу. Тысяча лет партизанских войн, садизма и мечтаний.

Укрывшись одеялами и закрыв глаза, я уходил во сне в глубь веков: хотя у меня были причины любить этот музей, я предпочитал свою кочевническую жизнь. Благодаря Юберу, читавшему только «Ридерз Дайджест», я знал, что многие

люди вполне способны понять чувства и приключения, которые я считал навсегда потерянными в дикости ночей. Во время наших бесед в горах я осознал, что истории, которые рассказываю, ему нравятся.

Я любил бродить ночью по пшеничным полям, с ружьем в руке: я читал, решал задачки по алгебре.

92 – Ты так и будешь ходить туда-сюда всю ночь, оставив зажженную лампу на бильярде?

Я снял рубашку, лег на бетон и дал себя высечь. Потом снова взял ружье и поднялся на крышу.

Лежа ничком на черепицах, с горячей спиной, я созерцал свою жестокую, наивную душу. Достал из кармана все свои скромные блокноты.

«Путешествие»: мое второе «я», которое можно запустить в мир в цвете, размножить бесчисленным количеством экземпляров.

Под каменным коньком крыши я взял свечу, чернильницу, перо. Я тихо пел, черкая под звуки собственного голоса. Что за искусство?

Я перечитывал одну за другой все страницы. Некоторые фразы были по строению чисто французскими, но большинство отличались странным убожеством. Это убожество объяснялось моим весьма примитивным образованием или, быть может, я придерживался дикарской стратегии: писать безграмотно, дабы избавиться тем самым от Франции? Не рассказ, а лишь следы: знаки пустыни и океана на великолепии ночей – всегда под угрозой моих помарок и нередко уничтожаемые. Стоя на коленях и согнувшись вдвое, я обращался в голос – окровавленный певец.

Дядя открыл флигель, привлек меня к себе, сел на низкий стул, стал искать мою жизнь под

одеждой. Я закрыл глаза. Когда он нащупал ее, я прислонился к его плечу:

– Я люблю тебя такого – в крови, ночью.

Он шептал, точно мы были на исповеди.

– Да.

– Вот твоя душа... – Таким тоном, словно он наказывал...

Качаясь на руках у этого человека, называвшего себя моим отцом, с упрямо закрытыми глазами, я слышал его голос, чувствовал запах табака.

93

– Малыш...

Меня не просто желали, а превозносили, воспевали, мечтали обо мне. В самом деле, мы совершали службу в разгар ночи: он призывал мою душу, чтобы сожрать ее. Это-то и мешало ему умереть. Я был серьезен и чрезвычайно ласков к нему в этом музее, где меня окружали любовью. Он поднимался медленно. Ногтями дядя срывал непросохшие струпья с моей спины, обсасывал пальцы, вымазанные кровью. Он перешел в меня, в сон. Этот пожилой мужчина весь обратился в сладострастие ребенка. Он вел себя так, словно я создан для него: ему были известны самые тайные движения моей внутренней жизни. В темноте я был весной мертвеца, слепца. Сняв с меня рубашку, он занялся моей душой: сек и говорил со мной, а я, по-прежнему не открывая глаз, стоял на коленях у скамеечки для молитвы, прижавшись виском к его плечу.

Затем, в гостиную, мы слегка перекусили: мне беспрестанно хотелось есть, и я был немного не в себе. Этот легкий ужин около полуночи был необычайно прелестен. Мы стояли: я налил ему вина, поел печенья.

Ослабев после недавнего нервного напряжения, мы старались ничего не разбить – отсюда

наша неловкость, молчание и серьезность. Точно священник, только что исповедовавший мальчика, он из деликатности делал вид, будто все забыл, хотя это было не так. Наши хриплые голоса доказывали, что еще ночь, но мы раскрепостились в душе и немного опьянели. Проникшись серьезностью минуты, я пытался изъясняться на безукоризненном французском, но неизменно ошибался в согласовании времен; по своей доброте он прощал мне ошибки.

Он наслаждался моим смущением, голосом и достоинством в эти минуты, которые были самой солью его жизни. Я отказался сесть.

Я подал ему хлеб и нюхательный табак, который он хранил в позолоченной табакерке, стоявшей в шкафу. Он поцеловал мою обнаженную руку и взял понюшку, сидя в желтом бархатном кресле.

Он сводил в могилу ребенка, совращенного им, запуганного и похищенного. Он доводил меня до страшного отчаяния.

Догадывался ли он, что я спускаюсь в гроб вслед за ним? Я открыл железную дверь, от которой у меня был ключ. Я любил вечную жизнь: нескончаемый звук, вечно слышный в моем сердце. Я поел пшеничных и кукурузных зерен, лежавших в карманах. В небольшой погребальной комнате, под пирамидой, которую он возвел в пустыне, я был счастлив.

Мои книги: я жил с ними, ходил смотреть на них в заросли, прятал их целый год, два года, пока не разослал наугад. Цветное «Путешествие мертвых» – я видел его написанным лишь моими любимыми словами.

Мысленно я гулял в садах, в полях – до самого океана. Кошмарный, абстрактный рай ребенка, беспощадность и садомазохизм детства.

(Слово «отец», вымаранное на печатных страницах, замененное от руки словом «дядя», больше соответствующим истине... впрочем, странная пометка.) И сколько других пометок, красноречивее самого текста: истинные борозды в садах, точки, паузы, мертвые пассажи какой-то ночной музыки? Агрессия... но против кого?

95

Пение, сразу достигшее дивной ночи звезд. Изобретенное искусство! Понятный мне язык: знаки моей вечной души.

Я жил уже своей подлинной жизнью после смерти мира, в крошечной тьме пространства.

В своей библиотеке, за железной дверью, он продиктовал мне несколько глав из «Общей космологической гипотезы». Голос у него был хриплый, далекий, а у меня – чистый и взволнованный в весенней ночи.

Решающее звучание человеческого голоса, обращенного к миру! Дневник? Шум насекомых – нескончаемый, неизменный, неустанный... И слышны лишь некоторые частоты. Человеческий голос в сравнении с этим шумом: победа над временем, пространством?

О загробной жизни у меня было вполне атеистическое, очень тонкое и мудреное представление.

Он продолжил:

« $E=mc^2$ ».

Пространство и время, с одной стороны, излучение и материя – с другой... При измерении расстояний между внегалактическими туман-

ностями было установлено, что все они удаляются во всех направлениях с растущей скоростью. Неужели расширение будет продолжаться до бесконечности и вселенная когда-нибудь исчезнет в бескрайнем небе?»

Из-за своего одиночества он боялся немоги и слабоумия, убедил себя, что предпочитает то, к чему у него больше способностей. Он говорил мне:

96

– Владение своими мыслями еще не означает аналогичной сексуальной выдержки. При выборе возможностей я испытываю большую радость, обретаю великую свободу ума. Это способен понять лишь мальчик, но не женщина, и мне необходимо, чтобы мою слабость уважали.

Загнивание Запада? Возможно. Однако нужно, наконец, пролить резкий свет на будущее горстки людей, загубленных острым осознанием вселенной.

Представление о произведении искусства становилось неопределенным.

Это наполняло меня радостью. Я давно подзревал, что наше столетие несет в себе лишь по-новому серьезный, взволнованный звук человеческого голоса, обращенного к миру: искусство, открытое пространству. Так же, как мой, он зародился у человека, увлеченного доисторическим периодом, в этой пустыне была намечена решающая направленность духа. Голос, свободный после смерти искусств и религий, наконец начинает свое одинокое приключение и вызывает к светилам.

– Попытка искупления литературой?

Никогда еще победа не была провозглашена так громко и обнародована столь поспешно! Несомненная агрессия. Разве не говорил я тайком



художникам своего века: я ненавижу вас и надеюсь убить вас, откупиться за ваши труды, радости, ваших женщин. Пока вы спали, я вопил от мучений. В ту ночь, когда вы соглашались быть лишь самими собой, я изобретал собственную гармонию с небом.

В полях зеленой пшеницы, у высоких деревьев, под шум насекомых, когда мне казалось, что я достиг ее, иные крики, в другом месте, смущали меня, пока я внимал этому звонкому великолепию. Ночь была прекрасна. Я вернулся в библиотеку с такой радостью жизни, – возникшей в самый разгар человеческого приключения, – что продолжил писать под его диктовку, раскрепощенный духом.

Голос, страсть на полях научного приключения. В необузданном свете моей жизни отчаянная попытка Запада, по-прежнему желавшего писать картины, выводила меня из себя. Живопись давно мертва, но кто посмеет это признать? Сделанное мною открытие пространства и силы слов совпало со смертью искусств. Запад не сможет безнаказанно осквернять могилы. Теперь, когда современное искусство завершилось, наконец становится очевидным: мы уже не те люди, что ваяли и писали картины. Каждой эпохе – своя гробница.

Всякое великое искусство – искусство могил. Эта диктовка в ночи воодушевляла меня, голоса – дядин и доносившийся до нас шум насекомых – серьезные и страшные одобрителные возгласы непрерывно сопровождали под сурдинку гимн моей радости: слепые кузнецы стучали в ночи по моей душе.

Как я был одинок! И все же – как человечен.  
Вдалеке – лай собак у скал и садов.

98

Будущее – эта карта у меня на руках, и я собираюсь пойти с нее. В 1950 году, когда разразятся бесконечные войны, зародится сладострастно-одинокий стиль. Этот форт в Сахаре: еще никогда эксперимент, затеянный вдали от людей, не увенчивался таким успехом. Почти нескрываемая атака против вкусов и обычаев увенчана Академией... и... Удачная агрессия. Победа человека, обрамленная красотой Африки. Не набожность какого-нибудь Фуко<sup>4</sup> и не филантропия какого-нибудь Швейцера, а сорокалетняя попытка наслаждения, в стороне от никчемной демократии.

Мечта нелюдима, который привлек к себе ребенка и заговорил. Даже если он не хотел обнародовать свой образ жизни, я был в курсе того, что он так страстно предпочел всему остальному. Он решил удовлетворить свои наклонности, среди которых астрономия была далеко не последней. Агрессия... страшно логичная, уверенная в себе, в своем будущем, в своей обольстительности.

Пустыня – молчаливая, прозрачная. Среди всех земных и человеческих форм это место было самым прекрасным, открытым небу. Спал ли он? Да, сном светил. Он спал голым. Я сел на край кровати, и он проснулся.

– Придвинься ближе.

---

4 Шарль де Фуко (1858–1916) – монах-траппист. Погиб в Алжире во время восстания туарегов. Его могила находится в оазисе Эль-Голеа рядом с домом Марселя Ожьераса, дяди писателя. Признан мучеником и беатифицирован в 2005 году папой Бенедиктом XVI.

Я был малообразован, а он мой вечный отец. Он погладил мои смуглые плечи. Ночь была ясной, безлунной: свет звездного неба заливал редкостным сиянием деревья в саду и пальмы.

В моей душе звенел дальний источник. Аромат сухих трав, запах хищника дурманил ноздри. Артезианский источник, неумоимо бьющий в ночной тишине, не прерывал своего свежего журчания. В зарослях сверкали струйки чистой воды. Я отдавал ему свою жизнь, губы, молодость и получал взамен склонность к уловкам и победам, не свойственную моему возрасту, зловещее мастерство. Старый жизненный опыт, привычка побеждать – я сносил всё. Питался последними мечтами человека, между ног своего отца учился преодолевать отвращение к престарелой плоти, свое омерзение и – кто знает – смотреть на людей с необычной строгостью. Я сел рядом с ним. На патронташе и штыке, которые я держал на плечах, он запечатлел долгий любовный поцелуй, лизнув холодный металл. Женщинам он предпочел солдат и догадался, что мир, красота и безмолвие земли – в пустынях. Он чтит будущее, и у нас была своя религия – религия светил, войны и неба. Я подобрал ружье и дал ему. Пока он щелкал затвором и рассматривал механизм: «Как приятно, – думал я, – жить с отцом. Он соединяет тебя с прошлым земли и людей, с человеческой историей».

Известно, что весь мир охвачен партизанской войной, форты, возникшие из отдаленного прошлого, вновь бодрствуют в ночи, в Африке и Азии уже никто не живет без оружия.

Я читал эту глупость:

«Есть два вида ночи – небесная и демоническая».

Одна и та же ночь, чудесная ночь земли и светил, ожидает человека на переломе истории. (Помню первый вечер, когда я не увидел ночи – из-за острого приступа трахомы – и завопил от ужаса. Несмотря на слепоту, я всё еще был человеком и принадлежал своему времени. Выздоровев, я вновь завопил, но уже от радости.)

100

Вопящая, поющая радость, полная воли к победе. Начиналась новая страница человеческой истории, и я заступал на тысячелетнюю вахту.

Должны были родиться серьезные, одинокие люди, которые найдут свою манеру письма и свои дивные знаки.

– Ты должен туда пойти.

– Да.

Я взял ружье. Какие области неба необходимо пересечь земле, дабы произошли эти события и наступило это слабоумие? Надо полагать, что некоторым словам хочется жить. Написанные мною страницы, вымаранные до самых древесных волокон, были всего лишь набором слов. Я раскрыл «Путешествие мертвых». Как радостно быть живым, еще иметь возможность вымарывать, вырывать из текста то, что к нему не относится (уничтоженные слова напоминали ночи, когда я не был мертв), ведь это лишь счетная книга моих страхов и моей свободы.

Созданная для жизни за гробом, уже после смерти, по ту сторону ее неведомых законов, изучение которых так увлекало. Многие фразы могли умереть. Умереть или жить в ином месте. Алгебра.

Сады стояли в ночной темноте, источник, словно забытый мною, непрестанно журчал.

Позже во двор вошел негр – босиком по песку. Он хотел, чтобы я отправился с ним в хижину, куда он обычно приглашал каждый вечер: ему нравилось познавать меня. В этой хижине он наваливался на мою грудь, и я задыхался, закинув ноги ему на плечи. В глубине этой комнаты в меня проникал страх, похожий на огромные волны, пришедшие из темноты. Стоя коленями на земляном полу, я крутил для него керамический жернов, а он наблюдал за мной.

На крыше я занялся своими делами, своей смертью, своими книгами.

Продолжил «Путешествие мертвых», исчерканное весенними ночами.

Если бы я стал писать романы, принял условности других людей, то не раскрыл бы тайну своей души, а я люблю свою душу.

Я зажег на камнях лампу.

Пересматривать свою судьбу, свои дела – это пленяет. Мирно мечтать ночью на крыше – вот моя подлинная жизнь. Из благодарности я воздел руки к звездам.

Какой бы опасной ни была моя жизнь, она увенчивалась радостью. Я принял свою жизнь и нашел ее прекрасной. Главное – во мне беспрерывно поднималась громадная жизненная сила, полная решимости наслаждаться, отыскать стиль своего сладострастия: человеческий тип, переполненный негритянской или азиатской кровью, увлеченный абстракциями, астрономией, музыкой, – приключение, идеально выражаемое человеческим голосом.

Мне было нечем заняться, кроме как смотреть на луну, доставать из кармана табакерку и брать понюшку. Спокойный и ясный взгляд. Возможно, астрономические труды моего дяди, – его недавно избрали членом Академии наук, – гораздо интереснее моих скромных блокнотов. Он считал этот музей в Сахаре пристанищем, где можно углубиться в размышления (свои собственные), и не догадывался, что ведет весьма необычную жизнь, которая в еще большей степени являлась моей. Я начал иную жизнь и что же в итоге обрел – радость или глубокое горе?

«Путешествие мертвых»: я вступил в соперничество с мавзолеем, который он построил в своем саду, мне захотелось иметь легкий, цветной склеп, ведь я жил у человека, целиком поглощенного земледелием и астрономией, который до поздней ночи переставлял черепа, не обращая на меня никакого внимания.

Всегда оставаясь невидимым, я имел странное представление о самом себе. Почти ослепнув после запоздалой операции катаракты, он успешно не замечал меня, тем более что он всегда закрывал глаза, притягивая меня к себе. Своей рукой

я вырывал у него последние хрипы. Во дворе и в кукурузе при луне я придумывал свой образ действий, беря за основу человека, одной ногой стоявшего в могиле. Какое странное бессмертие – жить на устах ребенка, который с самого начала говорил в отчаянии и отправлял по почте цветные книги в Азию и Океанию.

Все это так. Небо черно, пламя свечи гаснет, и я вдыхаю запах болот и деревьев.

Ночь невероятно тиха. В другой жизни я буду жать при луне. Сейчас я молод, но уже после смерти показываю черному небу серп.

103

Огонь освещает двор, огромные языки пламени поднимаются высоко в ночную тьму. Поленья падают на горящие уголья, и тотчас вырывается сноп искр. Уголья так раскалены, что я прикрываю лицо руками, коленями, отодвигаю их как можно дальше от головней. Все удивительно сухое – веточки на песке, мои блокноты в карманах.

Я отправляюсь в поля, где возвышается бетонная пирамида, которую ему вздумалось выкрасить желтым и черным.

Стоя в золотистых зарослях этого человека, я вижу луну.

Я держу на плече небольшой заступ: что у меня общего с другими людьми? Ни малейшего желания с кем-нибудь знакомиться, я не хочу с ними разговаривать. Сердце стучит сильно как никогда, совсем не по-европейски: я остался возле хлебов и деревьев. По ночам я работаю в полях, когда мне заблагорассудится, на бороздах, освещенных луной от одного сада до другого. Сейчас во мне проявляется молодость интеллекта, – а всякое

великое искусство есть искусство проявления, – ум, рожденный в садах, ловкий, хищный, целиком поглощенный неутомимым анализом вселенной; для восстановления сил у меня есть ночь, сон. Мне нравится возделывать поля, раскрывать колосья в золотистом сиянии ночи, с тростинкой в руке шагать по тропам. Я знаю, что на экспериментальных африканских полях мы упражняемся во всех видах агрессии, вдали от людей. Этот человек вовсе не одобряет мой образ действий, но мирится с ним: вечером, когда двери закрыты, в дрожащих редких зарослях – моя радость, радость мертвых, о которых люди не ведают ничего, сколько бы книг я о них ни читал. В безмолвии летней ночи я решаю задачки по алгебре, выбранные наугад из учебника лица Кондорсе, следуя не той логике, которой меня учили, с совсем новой строгостью и радостью. Я родился здесь... в тот день, когда этот человек увел меня из мира.

Мне хочется поговорить с ним, но он сама жестокость и тщеславие. Его избрание в Академию наук – лишь дань уважения внимательному географу, которым он был в Сахаре, но по чистой случайности его избрали через неделю после того, как он забросал весь Париж копиями своего «Очерка о космогонии». Он считает, что эта брошюра «произвела сенсацию в определенных кругах», не сомневается в собственном таланте. Он входит и видит на столе мои камыши!

– Что ты делаешь у меня?

После пожара на поляне я рассмотрел в темноте пепел и обнаружил полусгоревший зашифрованный блокнот. Я долго, но тщетно искал ключ к этой загадке.



Поздняя ночь. Луна красная и низкая, с наступлением темноты я вскапываю поля, жну серпом золотистую пшеницу под ветвями.

Это моя могила, – одно предложение за другим, – которую я изобретаю без его ведома. Эта история правдива, проверить ее точность – проще простого. О, тепло ночи, открытой будущему, новым приключениям духа.

В кресле, привезенном из Франции, он пишет при свете лампы. Со сварливой озлобленностью и мстительностью его железное перо царапает бумагу в клетку, покупаемую каждую неделю в оазисе. Он встал, чтобы продолжить свою «Гипотезу всеобщей космогонии», завершить и выпустить собственную книгу в большой Мир. Начинается она так:

## «ВЕЧНОСТЬ И КОСМОС

### *Гипотеза*

Данное исследование носит весьма рискованный гипотетический характер и принимает во внимание различные трудности либо возражения. Но любое космогоническое исследование (исследование космогенезиса) по определению «гипотетично», поскольку иначе и быть не может. Оно совершенно обоснованно: просто оно опережает факты наблюдений и часто направляет ум исследователей к новым экспериментам, способным привести к открытиям. Мы наблюдали это неоднократно. Именно Идея руководит наблюдением и экспериментированием. Я не смею претендовать на подобный результат.

Тем не менее после долгих исследований и размышлений, в особенности, после сорока лет

одинокости на просторах Сахары, склоняющих к раздумьям, я все же хочу предпринять такую попытку на закате своей жизни.

106 Умы всегда невосприимчивы к новаторским концепциям и упорно им сопротивляются. Всякая новая и революционная научная теория (как будет видно далее, именно такой идеей вдохновлена эта книга), особенно, если она не выдвигается ученым-специалистом, проходит три этапа. Сначала ее игнорируют – заговор молчания – или поднимают на смех. Если же затем, под влиянием новых открытий, соглашаются ее рассмотреть, то объявляют ее гипотетической и рискованной. Наконец, когда ее значение больше нельзя отрицать, бывшие хулители становятся ее «первооткрывателями». Не смея надеяться на подобную участь для настоящего исследования, я все-таки желаю поставить дату.

*Эль-Г... (1950).*

Я принимаю эту дату, поскольку она соответствует написанию данных заметок и моему решению их опубликовать. Но, в действительности, изложенная концепция возникла намного раньше – как минимум, десять лет назад. Однако я не могу этого доказать.

## ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЭЛИТ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И, В ЧАСТНОСТИ, В АСТРОНОМИИ

Какова численность этих элит? Подсчитать ее невозможно, тем более что вначале пришлось бы вывести определение: что можно называть

«элитой». Достаточно понаблюдать вокруг, чтобы констатировать, что всеми управляет удовлетворение материальных потребностей или инстинкт воспроизведения рода. Вероятно, лишь один мужчина (одна женщина) из тысячи интересуется высшими, отвлеченными вопросами, в частности, астрономией – предметом настоящего исследования.

Необходимо понимать, что больше нигде (за исключением атомистики) роль ничтожного меньшинства не была настолько доминирующей. Этим объясняется данное предисловие».

107

Хищная радость заставляет меня оставаться рядом с ним: он мой родственник, и поэтому я здесь живу. Но он отказывается говорить со мной и повергает меня в глубокое уныние.

Ноздри у меня раздуваются от запаха горячей древесины, сухой травы и болота: Африка, ночь.

Если театральные актеры, выходя на любые подмостки, согласны играть перед кем угодно, кто способен стать публикой, это красноречиво говорит о всеобщей вульгарности. Я плохо понимаю, кто я, но когда театр той или иной эпохи становится лишь обманом, он, вероятно, укрывается в дрожащих руках ребенка.

Я пересекаю двор, звездное половодье разливает по нему свой свет. Меня разбудил собачий лай, я далек от любых представлений о том, что принято называть личностью.

Под тиканье часов дядя запирает секретер.

Он ненавидит меня, как француз – туземца. Свободный, я выхожу и делаю, что хочу.

Теперь, когда все Искусства мертвы, после этого отказа и благодаря моему одиночеству, во мне пробуждается безграничная сила. Я с рождения впитал атеизм своего века, и вся эта история завершается для меня любовью к земледелию и астрономии.

– Я поклоняюсь вам, поклоняюсь лишь вам, – говорю я Земле и Небу.

Безграничное здоровье распахивает мне глаза. Небо ясно.

Манера письма никогда не являлась мне с такой мощью – мой шепот. Когда я занимаюсь этим, я свободен.

Я часто убегал вдаль – к железнодорожным путям... рельсам, по которым проходят новые образы людей. Загоревший и позолоченный, я алкал бессмертия. Каждой эпохе – своя могила. Я достаточно спал со всеми, чтобы познать, несмотря ни на что, нежность людей, воспоминаний о людях.

В Африке я всё писал на цветной бумаге. На крыше я опускаюсь на колени и кладу тетрадь на бедра. Вижу свой лунный почерк, отпечатанный на желтой бумаге, нередко прозрачной, как кукурузные листья.

Если бы люди, вылепившие африканские маски, вернулись на землю, они занимались бы тем же, что и я. На Юге Европы, упорно продолжающей писать картины, фантастическое приключение моих книжек было не столько ночной местью ребенка отставному полковнику, сколько победой навязчивого письма в двадцатом веке.

Ночь за ночью, находясь в рабстве у европейцев, я обретал цвета своей души.

Я иду по длинному бетонному каналу. Летней ночью мои босые ноги задевают колосья. Сухая, охряная, позолоченная лунной земля, по которой стелется моя тень в соломенной шляпе.

Я выхожу к оросительному каналу.

Вдруг оказываюсь у лабиринта из светлого бетона.

Все огорожено стальной решеткой. На крыше – железная кровать в окружении звезд, на фоне оазиса и пустыни.

109

Я работал и на других алжирских фермах, и повсюду ко мне относились, как к собаке: единственная моя вольность – писать по ночам.

В своей комнате, где узкая бойница выходит на сияющие хлеба, я открываю свой чемодан, задвинутый под походную кровать.

Беру нож.

Он пишет, но в его почти слепых глазах «купленные в Сахаре фиолетовые чернила такие бледные». Он с грустью предвидит свое одиночество, хочет услышать мои шаги или негра: мы стоим на часах. Мои шаги в лунном свете – как он завидует их свободе!

Широко раскрыв глаза и приставив ружье к зубцу, я вижу бетонные кубы для подъема воды – одинокие глыбы в ночи, похожие на мелкие светлые пятна на прудах. В темных болотах эти небольшие человеческие творения окликают звездное небо.

Я иду читать в сад. Дядя построил под ветвями бетонный флигель с железной дверью.

Стрекот насекомых в кукурузе возносится к ночной лазури. Я вижу цвета своей души: деревья посреди урожая и красные утесы. Срезаю кукурузные початки и собираю их в кучи на дорожках, таких светлых под звездами. Ступая босиком по белоснежному пеплу, ломаю кукурузу. В этих африканских полях всегда не больше сотни стеблей, я пересекаю тропинку и кошу в другом месте, под нескончаемый гул насекомых. На миг они перестают стрекотать, громкий вечный голос умолкает – я слышу рокот дизеля, снабжающего оазис электричеством. Над болотами светит луна.

Местами я нахожу полусгоревшие блокноты, слова мальчика с фермы на истлевших страницах. Я вырываю свой голос из земли. Ежегодно сжигается несколько аров зарослей, возделываются прогалины. Могу ли я сомневаться в том, что образы умирают, когда выкапываю заступом обожженные тетради? Но какое будущее вызвано мною! Изредка последние страницы книги светятся в ночной темноте неимоверно ярко, подобно золотистому следу. Я оставляю свою одежду под деревом и вслушиваюсь в собственную жизнь, навеки соединенную с вечной жизнью светил и урожаяев.

Я забираю одежду, копаю в другом месте. Так моя жизнь завершается в кукурузных полях, ночью: она еще трепещет в воспоминаниях мальчика, трудящегося вечером в саду. Я не вышел из ночи и встретил одиночество и смерть. Теперь уже конец, глаза мои закрываются в золотистом сиянии кукурузы и хлебов. Я падаю на землю, лицом в пепел пожаров, опустошивших прогалины. Один человек возжелал этот урожай в африканском оазисе, а один ребенок трудился наравне с ним, хотя даже не слышал его голоса.

Ночь тиха и прекрасна под большими белыми африканскими облаками.

Я остаюсь возле пепла, на молчаливой равнине, рядом с полями, где жил всегда. Я затаптываю свою жизнь в золу. Какое небо есть у меня и какую безумную радость я встретил! Никогда еще ночь не казалась мне такой темной, а слова, придуманные моим умом, – настолько включенными в звездное небо.

Я режу кукурузу – в одиночку, ножом, в золотистом ночном полумраке.

111

Я слышу, как радость, смешанная с моей кровью, стучится в голову. Из-за трахомы на глазах выступает кровь, и я протираю их тряпками, делая хоть что-то из того, что хочу ночью.

На крыше, когда я лежу на спине под звездным небом, неизменное здоровье вздымает мою грудь к плывущим светилам. Ночной воздух сушит и заживляет раны, безошибочный инстинкт подсказывает поведение, приводит мое сердце к созвучию со Вселенной.

И опять зов Океана – возможная метаморфоза стольких страданий и радостей.

«Какой человек!» – думал я. Энергия и сила были на его, а не на моей стороне: непредсказуемый человеческий акцент в хаосе Истории.

Это место на полпути между Европой и черной Африкой казалось мне теперь самым важным в том деле, которое я считал абсолютно экзотическим, и под моим пером подчас трепетал европейский классицизм. Для пытливых, тонких умов здесь таилась драма, которая, несмотря на свою литературность, была, тем не менее, страшно человеческой и еще более явной благодаря именно своей литературности.

К тому же я любил загадки. Я говорю о нем, записываю свой (его?) голос, не стремясь к выгоде. Один поступок за другим – всё отправлялось по почте. Его голос неотступно меня преследовал, словно те страшные признания, что он делал: мы и впрямь отправляли службу посреди ночи. Голос моего родственника соединял меня с таинственной жизнью земли и светил.

Меня любили и чествовали, мой сок принимался с криками радости, и дядя тотчас поедал его. Когда возвращенный ребенок восхваляет своего



мучителя, переодетого Богом, это самая глубокая и серьезная интрига: я восхвалял своего «отца», обладавшего мною.

Порой я, казалось, различал особенно пагубный религиозный настрой (и в этом же смысле мне служили). Ведь упорное использование телесных наказаний в христианских учреждениях поражает: не знаю, внушают ли удары страх Божий, но они вызывают некое потрясение на умственном уровне. Мерзостная интрига, в которой назревало безумие, отбрасывала очень резкий свет на сентиментальное и сексуальное происхождение отношений с Богом: отношения с отцом – точная копия содомии.

113

У меня целые страницы относились к чистому безумию, особенно те, что написаны на юге: да, слова и знаки о сиянии ночей – страстное африканское искусство.

Сама inferнальная манера письма всегда будет возвращать.

Inferнальная, или эмоциональная зона человеческого духа: жестокая, хищная, экзотичная. Я принял эту знойную атмосферу. Большая часть этого приключения выразалась в усилении моей любви к исследованию, астрономии и земледелию. Я с удивлением обнаружил свою способность к математике. Поразительно, что эта «мерзостная» атмосфера превратила меня в благородного, серьезного мальчика – удачный человеческий тип.

Его мужественность давно умерла, и, возможно, он вновь обрел в себе страстность, пробудив ее во мне. Я был в достаточной степени французом, чтобы ему нравиться, достаточно далеким, чтобы принадлежать к неведомому будущему, которое

он призывал изо всех сил, и достаточно благородным, чтобы согласиться на эту работу в ночи.

114 Пустыня была прекрасна, молчалива, прозрачна. Я примирился с собой, дабы оказаться достойным красоты светил. Интуитивное постижение вечной жизни, живое и музыкальное, как никогда, появилось вновь – серьезнее всякой морали: бесконечное поле, открытое для человеческой авантюры. Невозможно себе представить, с каким ожесточением я утолял свои страсти, в том числе ненависть к французскому роману: так или иначе, я обращался к чистейшему человеческому духу, способному соблазниться, скорее, дивными знаками, нежели связным текстом: перуанские гобелены были, на мой взгляд, красноречивее французских романов.

Сакральное возвращается в историю и наконец поражает самое жизнь некоторых людей. Хотя прошлое воскресло в наших руках, они остаются такими же страшно свободными, открытыми будущему: наступит время, когда человек возобновит свой древний диалог с миром.

Человек? Я писал свои книги, стоя коленями на своей крыше, под лунными лучами, с обнаженными бедрами. Эта ненависть к европейскому искусству, любовь к садам, поклонение луне, стремление к будущему, к искусству, открытому перед пространством, это неутомимое ткачество – вот чем были мои книги... Порой я баюкал свои сны у себя на животе, как баюкают новорожденного.

Мы догадываемся о серьезности приключения. По ночам я был девушкой, которая пела и ткала при луне. В какую-нибудь другую эпоху я бы красил ткани, находил подлинные цвета духа. Я писал под звуки собственного голоса.

Я закрыл глаза. Мне была знакома чувствительность, глубоко чуждая христианству и Европе: любовь негров к музыке, к волнам. Африка – не Европа, мир там прекрасен и сам по себе красноречив. Мое действительное знание о вечной жизни, причем наиболее целомудренной – жизни растений, насекомых – было для меня окончательным приобретением. Стрекот насекомых нескончаем и до такой степени неизменен, что я воображал смерть как возвращение к этому напряженному пению, к жизни нетленных волн.

Словно ответ в ночи, его голос раздавался, когда я, казалось, молчал. Со своей большой железной кровати он произносил:

– Мне нужно говорить, ведь я слепну. В меня входит тьма, которую я всегда любил: пещерная тьма. Мне кажется, на подступах к смерти сноваходишь в темные коридоры гротов. По-прежнему слышать свой голос!

– Знаешь, кто больше всего похож на народ? Женщина! Я ненавижу ее, поскольку люблю мужчину и мужские победы, которые никогда не бывают народными. Женщина – какой отдых для мужчины, когда ему нечего сказать! А я говорю по ночам и слепну.

– Догадался, что тебе светит?

– Да.

– Довольно!

Я был лишь голосом, которому не дает покоя будущее, полным решимости победить. Я встретил европейца, что и увлекло меня в этом деле, и его безумство сразу обрело стиль и музыку, способные противостоять целому веку. Он застав-

лял извлекать для себя жизнь, точнее, сок, – но для мужчины это и есть жизнь, – с моею помощью, руками, обученными им самим: абсолютом, который он называл отменным.

116 Возможно, соблазну отношений с сыном поддается лишь один тип мужчин – священники и люди, увлеченные наукой. В обоих случаях это незаурядные личности, опустошенные острым осознанием человеческой авантюры. Да, истинная драма разыгрывается в нем, а не во мне: драма человека, живущего без женщины и приносящего ребенка в жертву собственным мечтам. Чистое безумие, в котором Европа и Африка смешиваются в страстной агрессии, – эксперимент в буквальном смысле слова, столь же беспощадный, как наши красные стены.

Небеса были ясными. Если мне и удавалось различить окончательную направленность своей жизни, произведение искусства, служившее тому доказательством, беспрестанно ускользало от меня, жило собственной жизнью.

Всякое произведение искусства – это своеобразное «Путешествие мертвых», в том смысле, что в нем ты обнаруживаешь собственную душу, у которой есть шанс выжить, только если она достигнет вечной души людей. В той точке, где я находился, важнее всего для меня было изобразительное творчество. Под моим пером трепетали неведомые сюжеты и схемы.

Я с восторгом открывал для себя цвета Африки. Ночь была теплой, светлой. В небе, усеянном звездами, горела луна.

Вернувшись на свою крышу, где негр должен был сменить меня около трех часов, я любовался лазурью, перекинув ружье через плечо.

Хотим мы того или нет, вера в Бога нас больше не интересует. Я закрыл глаза. Лежа на спине с осторожно скрещенными на груди руками и прислушиваясь к своей душе, я разгадал сияние звездной ночи. Во мне билась жизнь, жизнь вечная – единственная моя вера. Мои веки дрожали в лунных лучах.

Да, это приключение было посерьезнее всякой морали. Я любил покой туманностей. Но был ли я аморален? Не думаю. Меня притягивали неведомые просторы, которые должен был открыть мой голос, музыка, волны. Малейшее звуковое потрясение открывало двери будущего.

117

Наконец одиночество обрело и свою душу, и свой стиль и победоносно восстало против женской морали. Ненависть, которую женщины испытывали к моим первым книгам, подтвердила их истинную ценность. Мы верили в детство, женщин, народ, которым нечего сказать: хотя человеческая эволюция порой совпадала с народной волей, осознание Истории уже давно от нее ускользает.

Люди не равны между собой. Необходимо хорошо уяснить, что народ не хочет ничего определенного, ничему не служит и желает лишь смерти тому, что выше его понимания.

Ценность этого африканского приключения в том, что оно не было всего-навсего мечтой.

Я разговаривал с собственной душой, подспудно сознавая, что в этом знойном климате новый человеческий тип, страстно увлеченный науками, способен проявиться с поразительной мощью. На незримых болотах не смолкал стрекот насекомых: жизненный порыв, сила которого меня восхищала.

Я и впрямь был одержим.

Я любил человеческий голос, созвучный Вселенной, пространству, которое мы страстно открыли для себя, – тому единственному, что нас волнует, тому, что видит, как рождаются и погибают самые далекие звезды.

118

Мне нравилось ходить и смотреть по ночам на идиолов этого африканского музея. Я открыл дверь. Каково же было мое удивление, когда я заметил картину, которую он поместил в глубине земляного прохода. Свеча и спичечный коробок доказывали, что он поклоняется божественному образу: тринадцатилетнему ребенку с широко раскрытыми глазами и с серпом в руке, в поле зеленой пшеницы.

Я вышел довольно взволнованный и счастливый. Музей моего дяди был некрополем: самым страшным обвинением бездушной Европе, которая только и знает, что откапывать мертвецов.

Этому человеку повезло, что он встретился со мной. Странная идея – заманить меня к себе. На пороге смерти он одобрял свою судьбу в ночной темноте, звал меня, чтобы его услышал хоть один человек. Тогда-то и прозвучали невероятные рассказы об охоте, изнасилованиях, войне.

Ночь была прекрасна и тепла в тишине пальм, тут и там – запахи смолы и птиц. Станный человек на своей железной кровати, в окружении звезд, не догадывался, что мой голос спасает его от забвения.

– Присядем на минутку, – говорит дядя.

Я прислоняюсь к его плечу, и мы молчим.

Слуга уже лег, двери заперты, и мы слушаем журчание вод на болотах. Облака. Неистовый лунный свет сменяется серым небом. Мое сердце, легкое, словно плащ из перьев, вновь внимает всем ночным звукам.

Он встает и берет цепи, которыми обвязывает мои лодыжки. Затем велит, чтобы я, недолго думая, нарисовал ему что-нибудь... Он пересекает двор, а я, скованный путами, ковыляю вслед за ним. На дне старых бочонков оставался цветной порошок, которым мы перекрашивали стены: охряной, голубой, белый, красный – весьма удачный эффект. Но сиккатив кончился. Я вспомнил, что его можно заменить яичным белком.

– Тем лучше, тем лучше, – сказал он.

Мы пробираемся в курятник, под оглушительное кудахтанье разбуженных кур я собираю три-четыре яйца, закрываю за собой дверцу, разбиваю их и выливаю белок на тарелку. Но на чем рисовать? Сгодился старый мешок, который я положил прямо на земляной пол двора. Кисти у нас были.

– Что тебе нарисовать?

Он расположился напротив и наблюдал за мной. У меня ничего не получалось. Я был взволнован и смущен этим человеком, сидевшим за спиной, весом своих цепей, силой земли и светил. Как уже говорилось, я был немного простодушен и часто ночевал на улице. Он настаивал, но все без толку: он уже готов был убить меня. Точки, знаки... Краска проникала до самых волокон и быстро высыхала, а я вкладывал всю душу и чертил ножом борозды. Эта материя, которая лишь проявляла красоту цветов и гармонирова-

ла с миром, внушала мне радость жизни – единственное страдание, познанное мною. Я прибил ее к стене.

120

Все еще возможен ряд цветных пятен, абстрактных, открытых реальному пространству, – тому единственному, что по-настоящему важно для нас, – ярких и пламенных, а больше ничего. Облокотившись о крышу, я трепетал от радости, открывая для себя целый мир с той силой, которой наделяет близкая опасность, одиночество и страх: пара кусков материи и небо. Мое перо скрипело по бумаге, и в иные вечера казалось, будто я обрел его, вот он уже проявляется – образцовый порядок. Возможно, новое определение человека яснее проявится не в самой Европе, а на ее границах (искусство Больших границ). Усилие, четко направленное против мнений народа, довольно-го тем, что он ничто, и стремящегося, чтобы все равнялись на его ничтожность. Кто в наши дни отважится противостоять плебсу, его явственно-му желанию удерживать человека на посредственном уровне? Элита? Она буржуазна, не олицетворяет ничего и сопротивляется Народу только из тщеславия. Эта книга адресована свободным, слишком свободным людям, полным решимости вырвать у народа власть над реальностью.

Строить, а не жить где попало и как попало. Не делать что попало. В этой любви к абстрактному, наверное, также скрывалась любовь к тайне, секрету, искусству кланов и сект, тайнопись. Искусство призыва. С пистолетом на бедре, я находился далеко от Парижа – этого уродливого, грязного и унылого города, с его протертым до дыр народом, который утверждает, будто осведомлен



обо всем на свете, а на самом деле не олицетворяет ничего и даже ни о чем не подозревает. Из глубин Африки я изрыгал ему свою ненависть.

Возможно, будущее потребует от живописцев, прежде всего, отказаться от амбиций, внушать лишь чувствительность... Пара кусков материи – ведь это было великое приключение человеческого голоса, встреча еврейского прорицательства и еврейского глагола с магией и геометрией негров. Кому, как не мне, знать об этом? В том форте я поистине принадлежал своей эпохе, и когда-нибудь это осознают.

Везение этого человека изумляет и восхищает. Желтые заросли, которые он подарил мне, вновь принадлежат ему. Разумеется, акт был зарегистрирован «по совести», но, поскольку некоторые участки являются государственным имуществом, контракт, заключенный без соответствующего разрешения, признан недействительным.

Так он получил свою землю обратно. Он строит или, точнее, за него строят негры. Однако, не догадываясь об универсальности своей деятельности, он довольствуется упоминанием в синем путеводителе и принимает дань уважения от туристов.

В самую жару, сидя в плетеном кресле, в окружении деревьев и стрекожущих насекомых, он читает, положив ружье на колени.

Облака. Бескрайнее небо – самое агрессивное и современное, какое только возможно. Его снимок – во всех газетах.

Генерал, проезжающий мимо, непременно наносит визит. Мы принимали одного весной. У порога музея остановился автомобиль. Полковник встретил своего гостя. Великий военачальник долго склонялся перед цветами свободной Фран-

ции. Затем я прочитал в Золотой книге: «Вдали от холодной и нервной Европы я оказал почтение мужчине, ученому, художнику».

Я взял ружье и пригоршню патронов. Нашел товарищей, стерегших в лощине верблюдов. Провел весь день с ними – пятерыми-шестерыми кочевниками в бело-голубой одежде, выцветшей на солнце, с ножом за поясом и куском шерстяной материи, брошенной на плечо.

Я любил Африку, ее холмы с перламутрово-белыми камнями, молчаливые, пустынные поля, где свистел ветер. В плетеных травяных сандалиях на босу ногу, с ружьем в руке, я любовался лазурью.

123

Страна песчаниковых холмов – белая, слегка золотистая феерия. У них были пастушьи взгляды и посохи на затылке. Шаамба.

Я поцеловал их в горячие губы, стиснул патронташ на талии и ушел в сумерках по пунцовым скалам, перекинув через плечо свою шерстяную куртку, с обнаженными руками – худыми и почти черными от грязи.

Как же я ненавидел французские романы! Я торопливо писал карандашом. Как приятно убивать в этих пустынях – ради человеческого голоса, по-новому серьезного, победоносного под светилami, созвучного вновь обретенному великолепию вселенной.

В моих жилах текла горячая, хищная кровь, чуждая Европе и полная решимости побеждать. Никогда еще столько не кричали и не пели об усилиях. Положив ружье на черепицу, я посмотрел в небо и забылся глубоким, чудесным сном.

И опять – зов океана, на который я скоро откликнусь.

Восхитительный строй звезд сиял над камышами, над водами. Вдалеке – пустынные скалы, дядин музей... В стороне от людей – мысль, чье бесценное значение я наконец постигал: одиночество.

124

Я хотел снова услышать его голос. Я был молод, в ночной темноте дрожал от радости и страха, я любил его. Его голос, призывавший будущее, доносился из самого отдаленного прошлого. Он был Югом, Югом человеческого духа, увлеченным абстракциями, знойным, уже задетым черной Африкой. Он был стар, как мир, и был моим родственником.

Этот человек вырвал меня из-под власти людей – дело не в нравственности, а в страстном призыве к звездному небу. Не знаю, как выразиться, чтобы меня правильно поняли: чистый и простой отказ от законов, обычаев и мнений заурядных людей.

Даже если мои книги ничего не стоили, оставалось приключение – известное, общепризнанное: при необходимости в нем можно было удостовериться по полицейским рапортам.

На закате я увидел его в зарослях с несколькими людьми, в том числе почтмейстером, что удивило меня, поскольку обычно дядя не принимал гостей.

Эти господа осматривали оросительные каналы.

– Нет, исключено. Даю вам слово, что ни один комар...

– В конце концов, полковник, вы заразите всю страну малярией: ваши болота просто кишат личинками комаров.

– Не видел ни одной. Если бы у меня были комары, я сам заболел бы малярией, но я прекрасно себя чувствую. В крайнем случае, для вашего успокоения, я могу понизить уровень воды.

Когда они уже были далеко:

– Нужно просто не уступать, и они не посмеют напасть на меня. Даже если я заражу всю страну малярией – что с того? Христиане, метисы, горстка арабов... я не собираюсь отводить воду, которая придает очарования моим зарослям. Ненавижу народ. Пусть моя жизнь послужит примером! Ты откуда?

– С севера, захотел с тобой повидаться.

Он немного прошелся вдоль отвесных скал – таких же красивых, как в Долине царей:

– Элита, не стремящаяся к захвату власти, не заслуживает того, чтобы жить. Если она действительно верит в ценности, которые называет своими, она захочет их навязать, пусть даже силой. Возможно, мы живем в последние годы мира и свободы... Европа, Европа – ее давно уже нет, на свете остались только европейцы, что не одно и то же: люди, готовые продолжать борьбу после поражения Запада. Мы никогда не примем народные воззрения – никогда!

Трагедия этого человека заключалась в том, что он противопоставлял большинству не духовное творчество, а место на земле, где он жил не так... как другие люди. Народом для него была и Буржуазия – все непосвященные.

Вода сверкала в сухой траве, а в еще голубом небе загорались первые звезды. Из-за недавних событий не осталось ни одного туриста.

Безмолвие и красота пустыни. Золотистые заросли, словно пропитанные светом. Я был молод в наступающей ночи.

Хотя я был неверующим и стоял босиком на песке, я не был бездушен.

126

Я слишком много страдал от людского безразличия к красоте мира, чтобы не любить молитву. В тишине сумерек тут и там блестели соляные корки.

Его бетонная пирамида выделялась на ночном небе. Я колол дрова и жалел лишь об одном – о том, что не оценил раньше этого человека и его образцовое одиночество. Та Сила, что вновь проявилась здесь в своей пустынной чистоте, пришла из далекого Прошлого: он был строителем, а я – одержимым писцом.

«Какой театр!» – думал я. Вначале сцена в сумерках, на краю болот. Простонародье – его прогоняют...

Он посмотрел на светила, схватил кожаные ремни и поднялся на крышу.

Небо ясное. Я снял рубашку, спустил штаны на бедрах и лег на сухую землю без всякого стыда, – ведь бьют лишь мальчиков, – но, уже раздетый, задрожал. Я зажмурился, закрыл руками лицо и ждал, напрягая мышцы, чтобы не было слишком больно.

После первого удара я скорчился. Стиснув зубы, получил второй по пояснице. Я был давно знаком с плетью: свист ремней, звук стегавшей кожи. Первые удары болезненны, но это хорошая, горячая, старая, как мир, боль: я с удовольстви-

ем демонстрировал свое мужество. Наказание то одной, то другой рукой расплющивало меня на земле, проникало в плоть, обжигало. Стиснув зубы, чтобы не закричать, сжав кулаки и закрыв глаза, я не шевелился. После двадцатого удара мне захотелось взвыть, заплакать. Он стегал меня по пояснице, избитой, с содранной кожей, по окровавленным плечам. Мне хотелось узнать, что бывает после того, как начинаешь выть. Наконец, после удара прямо в лицо, все завершилось. Я лежал ничком, с закрытыми глазами, ни жив ни мертв, словно уснул под плетью.

Он обнял меня:

– Ты там не околел?

– Сердце загнал, – ответил я, не открывая глаз, горделиво, рыдающим голосом.

У меня горели спина и бедра, больше всего болела талия. Он подтянул на мне брюки, я словно ослеп от ударов, но было почему-то приятно, а в глазах стояли слезы.

– Я люблю тебя таким.

– Да, хорошо, спасибо.

Его седая борода блестела в лунном свете. Он поцеловал меня в губы, распухшие от последнего удара. Я замерз и предался страсти, поднявшейся в теле: его рука пробуждала и усиливала ее.

Очень старый и голый под покрывалом, он напоминал Дьявола под небом с немногочисленными светилами.

Когда я очнулся, он притянул меня к себе. Я вздрогнул от ужаса. С закрытыми глазами ответил на его поцелуи с каким-то девственным страхом перед мерзостью. Он был моим предком, моим родственником, я имел перед ним обязанности. Но ничего не получалось... «Мертвое светило», – думал я. От него воняло трупом.

Ночь была прекрасна: розовые скалы, крашенные стены в ночной темноте.

Я взял ружье, патроны и отправился на восток. Пустыня была мрачна, безмолвна: мертвая тишина, не считая моих шагов по песку. Ничто не сравнится с нежными предутренними часами: воздух свеж, запахи обострены. Еще ничего не предвещает рассвет, кроме самой этой нежности и радости жизни. Это час, когда человеческий дух свободнее всего, мы сильны и слабы в три часа утра, летом, на тропинках, посреди нагромождения скал.

Наконец забрезжила заря. Воздух был чист. Безмятежная красота пустыни воодушевляла, вызывала безудержное веселье. Я мог покрыть приличное расстояние – быстрым шагом, перекинув ружье через плечо.

Ни облачка. Безмолвие. Покой.

Я растянулся в светлой долине, освежив загорелую кожу холодным прикосновением камней в утренних теньях. Воздух шептал о полном одиночестве, высохшей траве и солнце на горячем кремне. Спокойное и свежее утро – предвестие сильного дневного зноя. Тот, кто не знаком с этим, не знает, что такое счастье, вечная девственность мира. На камнях блестели капли росы, высоко в лазури парили ястребы. А мое смиренное и чистое сердце ликующе вздрагивало.

Я охотился на холмах. Вздвигаясь по тропинкам до середины известняковых откосов. Там, на ветру, смотрел на небо, золотисто-голубые безлюдья Сахары.

Как и каждый вечер, закат одним махом оживил краски пустыни – всегда новое чудо силы и тепла. Я заметил на холмах пастуха. Он наблюдал за мной оценивающим взглядом. На скудных



пастбищах бродили верблюды. Он был молод. Алые овраги, озаренные последними солнечными лучами. Он встал и начал собирать веточки. Я часто отлучался на два-три дня и даже больше, вел совершенно вольную жизнь.

Не проронив ни слова в вечерней тишине, мы разожгли костер. Он сбросил одежду на золотистый песок – там, где спал. У меня были с собой яйца, сигареты, бутылка воды. Я ничего не ел со вчерашнего дня, но был счастлив – таким счастливым бываешь только в пустыне, облокотившись о песок.

Он рассматривал мое автоматическое ружье со страстным интересом кочевников к оружию. Огонь догорал. Пастух взял пальцами пылающий уголек и предложил мне сигарету, которую подкурил, морщась от боли. Ему нравились страдания, как и всем мальчикам, которые, подвергшись насилию, хранят о нем приятные воспоминания. Я последовал его примеру, глядя ему прямо в лицо и вздрагивая от боли. Его одежда приятно пахла, я уснул подле него.

На рассвете я был уже далеко. Добрался до бескрайнего пустынного плато и пошел навстречу восходящему солнцу, ступая по холодному песку.

Против света выделялись странные базальтовые горы, останцы – следы лагеря по эту сторону пустыни. То были уже не охристо-розовые камни, как в окрестностях Эль-Голеа, а перламутрово-серые, освещенные первыми солнечными лучами.

Пустыня была прекрасна. Над холмами гудел ветер. Тут и там – чистые песчаные перекаты, как на берегу океана.

Товарищ дал мне сухарь – еще горячий, и я сунул его за пояс: он хранил теплоту дружбы и

очарование утра. Далеко на востоке простирался Египет, который я так любил: Фивы, Мемфис. Я взобрался на известняковую гору.

Наступил вечер.

130 Я увидел, как он стережет скотину на берегу вади. Он встал и с пронзительными криками, похожими на вопли, поставил на колени полудикое животное, которое тотчас пустилось во всю прыть, направляемое пятками и посохом. Я вскочил на другое и поскакал вслед за ним, крепко держась за шерсть на шее. Вечерний ветер дул в лицо, развевая волосы, полные песка. В заго-родном безмолвии, на пороге ночи, он вел свою скотину по примеру детей пустыни, подбадривая криками и стискивая ей бока голыми ногами.

Он спрыгнул на песок и так же, как накануне, собрал веточки на бесплодных склонах, не проронив ни слова в тишине сумерек.

Настала ночь, и долина обернулась призрачным пейзажем. Тем временем луна медленно покидала хребты и плыла среди облаков в открытое небо, разливая свой мягкий свет над лабиринтом скал. Во дворе трещал костер из дров с сильным ароматом, а над пальмовыми рощами высились незримые отвесные скалы. В это же время, думал я, открываются двери европейских театров, но есть лишь один театр, по-прежнему трепещущий от новых побед, весь сотканный из неведомых зовов, устремленных к звездам.

О, сила слов в ночном безмолвии! Я считаю, что опасность помогает разлюбить пустые забавы.

Я проснулся от ударов в дверь. Кто так сильно стучал? Дядя или негр? Дядя попросил почтить ему. Облака закрывали луну. Я жил, словно в

храме: тот же ритуал посреди ночи и тот же свет ламп. Потом я писал под его диктовку, стремясь к знаниям, из которых молодой человек способен извлечь лишь пользу.

Я вышел на улицу. Звезды сияли в ночной лазури, озаряя наши стены, ошметиненные бутылочными осколками. По крайней мере, дядя предоставлял мне безграничный досуг – неслыханное стремление разглядеть мир светил. Подобное место, позволявшее медитировать, без сомнения, было произведением Искусства в двадцатом веке, после смерти религий. Лежа на земле, затвердевшей от зноя, я вновь погрузился в сон, сжимая в зубах ослепительные яства перед Светилами и Ночью.

131

Я был лишь кочевником в доме человека, целиком поглощенного науками.

– «Интуитивное постижение космического излучения на уровне нынешних знаний – самая желанная добродетель. Она определяет реальную ценность человека, его ментальное и биологическое будущее. Я считаю негров и желтолицых весьма одаренными. Если когда-нибудь произойдет селекция рода людского, иными словами, если общество, вместо того чтобы служить дебилам, наконец станет служить наиболее удачным образцам, восприимчивость к космическому излучению будет, на мой взгляд, самым надежным критерием для выявления подлинной элиты».

Легкий ветер рябил воду болот и приводил в движение метеорологические приборы. О Музыка, о Мир! Я жал серпом в световых лучах сахарского лета.

«Чувство энергии в чистом виде заметно изменит наши воззрения – не мимолетное предчувствие, а окончательное приобретение. Это представляется мне чрезвычайно интересным, ведь появление такого чувства у человека ознаменует конец религий».

Я был молод, как египетские фараоны, и так же, как они, позолочен солнцем. Я шел по тропинкам легким шагом в безмолвии хлебов. Ни облачка, тут и там – тростники, сады, прекрасный, величественный, огромный мир. Стеклянные шары сверкали на солнце. Жизнь пела во мне в такт моим шагам, мне было весело под бескрайним небом пустынного края, и птицы пролетали над сиянием полей. Я стремился к знаниям, следил за ростом растений. На границе пальмовых рощ урожай был прекрасен.

Вечером я разводил костер на камнях, вернее, на одном – довольно плоском. В карманах лежал ладан, который я жег в сумерках – в полях, позолоченных последними солнечными лучами. Мне это нравилось больше всего, я отдыхал от дневных забот. Тепло поднималось лучами к звездам, деревья приятно пахли. От Африки исходила невероятная сила.

Стоя на коленях, легкий, словно птица, я очарованно ворошил потухшие головни, испускавшие аромат ладана.

Ночью я возвращался во двор. Когда глаза привыкали к темноте, я различал большие африканские фетиши, прислоненные к глиняной стене: у нас их было около сотни – выкрашенных в яркие цвета или черно-белых. Для меня они были призывом, на который я страстно откликался, – призывом, связанным с любовью и обольщением,

проникавшим в самую душу. Запах сухой древесины и крови мягко пьянил ноздри. На болотах журчал родник, и очень низкая луна озаряла пальмы. С ружьем в руке я поднялся на крышу. Юг, ночная лазурь.

На рассвете я был уже в пустыне. Заметил фенека и стал охотиться за ним по скалам. Очень быстро зной стал невыносимым. Я повернул обратно, заблудился в лабиринте базальтовых долин. Ни единой тени – сущий ад. Свет был таким сильным, что меня преследовала лишь одна мысль: найти какое-нибудь укрытие. Я проник в пещеру. Поначалу ослепнув, почувствовал холодное прикосновение песка, затем различил свод, украшенный наскальными рисунками: быки, львы – кочевники исчеркали всё вокруг. Гадючьи следы. Я заснул.

133

Возвращение. Двадцать километров в потемках, среди оврагов и груд щебня, которые я проходил очень быстро, бегом.

– Ты откуда?

Я показал на пустыню:

– Я был мертв.

– Вот как, иди-ка сюда.

В своем доме он привязал меня к дивану и начал методично хлестать, по одним и тем же местам, мало-помалу раздевая и запутываясь ногами в моей одежде. Я скользнул на край дивана, а затем на пол, где он и закончил сечь меня по ногам и лицу. Мягкий свет лампы, тиканье часов.

Он бил меня еще, плетью обжигала и усыпляла, ремни срывали одежду. Наконец, полуголый, я полностью залез под диван и провалился в глубокий сон.

Негр принес кофе, часа в три утра мы покурили. Я вновь начал писать под его диктовку. Его голос, целиком поглощенный светилami, вместе со мной возобновил свое одинокое приключение: речь шла об астрономическом трактате.

– Ты замечтался.

– Я хочу задать тебе вопрос.

– Слушаю.

– Эти письма, что ты получаешь из Конго, Америки и Японии... Это подпольная организация? Кому она выгодна?

– Допустим, секреты известны людям, полным решимости их сохранить. С Народом нельзя договориться, нужно быть сильнее его, вот и все. А этой силой мы обладаем...

– Никаких связей с Колон-Бешаром?

– Никаких. Они не знают ничего интересного.

– Еще один вопрос: это касается космической энергии и гравитационных полей?

– Да.

Я вышел. Наши зубчатые стены пылали в ночном сиянии. Шум грузовика вдалеке, на севере... В этом деле можно отыскать кучу недостатков, но те, кто им жил, знали, чего хотели, ведь любое приключение начинается с сентиментального секса, а ужасам и неизведанным радостям задают тон лишь глотка и голос крови. Одержимая манера письма – я был плоть от плоти своей эпохи, то есть я навсегда вступил во вселенную светил и страха, неизлечимого страха, пришедшего из самого далекого Прошлого. После смерти Искусств я стремился к небу. Великим поэтом является лишь тот, кто, проснувшись среди ночи, способен воскликнуть:

– Я не сплю, моя жизнь в гармонии с моей душой.

После чего он может смежить веки: он победил.

– «Только элита имеет право издавать законы, не учитывая мнение Народа, которое всегда абсурдно. Можно еще ожидать чего угодно, предвидеть новые расы, более справедливые законы: все дело в образовании. Человек не сказал последнего слова. Романы изумляют, но не интересуют меня: они лишь описывают страсти, так и не указывая окончательной направленности. Строить, основываясь на реальности, противостоять Плебсу...»

135

– Я решил тебя женить, нашел женщину, ей пятнадцать.

– Спасибо.

– Это обойдется мне в двадцать тысяч франков. Словом...

Около полудня я увидел, как он отправился в оазис.

Вода поблескивала под небесной лазурью. Я ушел в поля и пальмовые рощи. На болотах спали суданские быки. Из всех экспериментов двадцатого века опытная ферма – безусловно, один из наиболее интересных, устанавливающих новые связи между Человеком и миром. Повторюсь: я был основателем, стремился к знаниям, мой чистый взор не уставал от красоты земли и неба. Воздух был голубой. Уже созревший урожай дрожал на ветру, а сила растений поднималась к солнцу.

Я был счастлив. Бетонные кубы блестели на солнце. Вскрытие колосьев пленяло. Я любил жизнь, любил создавать неведомые сорта, описы-

вать форму и расположение зерен – с бесконечным терпением, в одиночестве, в хлебах.

В тени дерева я проспал до вечера.

Вернулся во двор в тот час, когда голуби воркуют на коньках кровель, рассказывая друг другу о дневных приключениях. В воздухе – запах меда и костра, доносящийся с полей, позолоченных последними солнечными лучами. Усевшись на низких ветвях эвкалипта, я принимался читать: я любил Ницше, Киплинга.

136

Я поднялся на крышу. Пустыня была прекрасна: покой, безлюдные просторы Сахары. Белая луна сияла в лазури, со стороны каменных и песочных холмов, ячменных и кукурузных полей. Заняться было нечем.

Моя полудикая душа восхищалась первыми звездами, мои взоры всегда устремлялись к пустыне, к прозрачному, еще голубому небу. Кочевники разводили костры на дюнах, вечер освежал краски чистых песков и тростниковых изгородей.

Вернулся негр, затем дядя запер входную дверь: приходилось соблюдать некоторые меры безопасности – в Африке и Азии дежурят на крышах. Там начинаются новые приключения духа за пределами Европы, которая упорно пытается описывать навсегда отжившие чувства и образ жизни.

Я вдохнул ночной воздух и нарисовал на белой известке зубца луну.

Спустился во двор и поел с негром при свете лампы, стоявшей на твердой земле. Я передал ему ружье и мирно уснул на крыше.

Утром:

– Я говорил тебе о женщине. Она молода и красива. Я выбрал ее для тебя.



– Зачем мне женщины? Я счастлив в этом саду, наедине с тобой и твоим слугой.

Я поцеловал его руку, он посмотрел на небо и, притянув меня посреди густых кустов, усадил рядом с собой.

– Ты мой Отец, и я люблю тебя.

Мне хотелось спать, я заснул у него на руках. Он был старый-престарый, седая борода царапала мне плечо, а губы пахли табаком и хищником. Я был счастлив, он привлек меня к себе, гладил мои худые руки, загоревшие на солнце. Воздух был молод, как и я, как птицы, змеи, белые цветы и непроходимые заросли. Было ясно и тепло, птицы парили над отвесными скалами и зелеными пальмами.

– Я захотел тебя таким, какой ты в этом саду.

Первые солнечные лучи уже предвещали силу грядущего лета. На самом деле, я был неверующим и не нуждался в религии. Мне достаточно было закрыть глаза, чтобы ощутить в себе Энергию в чистом виде – Вечность, живую Вечность. Покой, безмолвие. Меня увлекала письменность, я любил египетские тексты: иероглифы... поразительно точные, разделенные временем и пространством, искусная, воздушная, невульгарная письменность, о которой нынешние писатели не имеют ни малейшего представления.

Негр принес хлеба и яиц. Я работал в полях. Пустыня была белая, небо – голубое.

Зной вскоре стал таким страшным, что, открыв дверь Охотничьего домика, я начал искать прохлады в полутемных нижних помещениях. В тени стены я проспал до вечера.

Я поднялся на крышу, у меня было больше сотни пластинок, некоторые из черной Африки: женские, пастушьи песни невероятной силы – неистовые, дикие, отчаянные. Ночь была безлунна. Своей полнейшей вульгарностью уничтожив все стили Сакрального, начиная с собственных, белые теперь именуют себя наследниками всех мировых искусств, хотя они всего-навсего посредники между ускользающим Прошлым и непредсказуемым Будущим.

Медные патроны блестели на моих голых плечах. Обнажив свою длинную шпагу, я проник в лиственные заросли и добрался, перелезая с ветки на ветку, до края слабо поблескивавших болот. Я остался там, наблюдая, как быки топчутся в тине посреди зеленой травы, глухо пережевывая жвачку, не ложась и прислушиваясь к малейшим звукам, готовые резко выбежать из болот и вступить в схватку. Они не спали под ясным небом. Один был белый. Я тихо свистнул, как птица, – негромко, чтобы они просто догадались о моем присутствии, не более того.

Они подняли головы и заметили меня на одном песчаном островке. Я сделал пару шагов, они не двигались. Мне захотелось пройти между этими полудикими светлорогими быками. Еще шаг, и они неторопливо удалились, оставив после себя слегка пресный запах, хорошо ощутимый в холодном воздухе болот.

Я вошел в черную воду, местами покрытую плесенью и не слишком глубокую, в которой шмыгали молодые змейки.

Там стояло животное – оно не испугалось моего приближения, словно вросшее в тину и поглощенное неясными чувствами.

Враждебное? Нет. Я опустил ему на хребет ладонь, потом всю руку. Моя смелость была вызвана любовью, я чувствовал его тепло, огромную силу.

Затем бык ушел. Я вернулся во двор, дядя спал на большой железной кровати.

– От тебя пахнет водой, – сказал он. – Ноги мокрые, а руки – нет.

– И голова.

– И спина. Разденься, ты намочишь мне всю постель. Я больше люблю тебя голым.

Его пальцы блуждали по моему лицу, глазам.

– Ночь...

– Да, знаю...

Он слепнул. Над болотами пели птицы. Они учили меня страсти, пробуждали ее во мне.

Еще ночное небо сверкало тысячей огней над садами, полными цветов и звездного света. И снова этот жуткий запах болот, пьянивший ноздри, и эта свежесть воды.

Я уснул на черепице, прижимая к сердцу длинную стальную шпагу.

– Ах, – говорил он мне, – моя жизнь была образцовой, всегда посвященной наукам, охоте. Наибольшим моим удовольствием было слушать, как рычат хищники, и убивать их, а еще большим – астрономия. Строить и жить в одиночестве или с тобой, что одно и то же. Неспособность любить то, чем я не восхищаюсь. Я презираю женщин – лишь мальчики красивы, трогательны и поистине сексуальны.

Лежа спиной на черепице, я смотрел в небо, вновь заблудившись в своей дикости: редкостная мощь сна и забвения.

Безмолвие и Ночь возвратились в Историю, сначала – в этом оазисе на крайнем Юге. Моя ожесточенная душа обрела собственный стиль и свою музыку. Стоя на часах, я мог медитировать, видеть небо: в конце столетия победят воззрения одиночек.

140

По крайней мере, здесь жестокость обладала стилем, гармонизировавшим с сиянием светил. Астрономия, музыка, новые пространства: неодолимый зов сквозь неведомую манеру письма, открытие которой меня увлекало.

Я постарался немного отделаться от своей дикости, дабы прояснить зрение. Живопись давно умерла: все еще возможно очень красивое и волнующее абстрактно-декоративное искусство, но великая авантюра происходит не там, и хорошо бы об этом знать. Это вовсе не авантюра живописцев, ничего не хотевших и не понимавших, которым нечего было сказать: африканская авантюра с моими цветными книгами казалась на редкость смелой.

А авантюра с моими пластинками – еще смелее.

Вязанки сушились на черепице при луне. У меня были одеяла, спички, я жил под самым небом – бело-голубым, сотканным из больших облаков и лазури.

Я тоже познал страдания, но все же не придумал какого-нибудь Христа для собственного спасения. Однако, если человек заслуживал его сострадания... каждый день, каждую ночь, еще ребенком, я человечно выводил себя из отчаяния игрой, учебой, танцем.

Светила сияли, затмевая некоторые области неба: к ним устремлялись мое сердце и желания. Несмотря на свою примитивность, я покло-

нялся вселенной, стоя коленями на кровельных камнях... чистейшая радость – порой я сжигал свое семя. Радость от смешивания своей молодой силы с силой светил и растений, внезапное появление во мне радости, на пятьдесят лет опережающей человеческую историю: новая гармония Человека с небом. Случайности, безмолвие, пустыня при луне... Образцовый эксперимент. Для начала – в области мутаций.

Записка, доставленная грузовиком, несказанно его обрадовала: избрание в Академию наук было делом решенным. Он немедленно поедет в Алжир. Грузовик отправляется через час. Все лампы зажжены, дорожные сундуки заколочены молотком. Посреди веселья и ночной свежести запирают флигели. Я поеду с ним, у него так мало вещей, помимо коллекций, что багаж собран задолго от отъезда. Мы выпили кофе с молоком, я поцеловал негра, и мы уехали.

В Джельфе, куда мы прибыли вечером следующего дня, он попросил один билет первого класса до Алжира, а для меня – третьего и только до Медеи, то есть в горы, но не дальше.

– Я просто хотел увезти тебя из дома и не соби-  
рался брать с собой в Алжир. Завтра ночью поста-  
райся успеть на поезд к моему возвращению.

Он предупредил контролера, что у меня билет только до Медеи, удостоверился, когда мы прибыли туда посреди ночи, что я вышел из поезда, и оставил меня на перроне.

На следующий день, в час ночи, я запрыгнул в поезд Алжир-Джельфа и, открывая двери каждого купе вагон за вагоном, нашел своего полуслепого

дядю. Затем отвел его в туалет, слегка подталкивая вперед плечом. После Богхари вышла луна, а вскоре появилась и пустыня.

В купе первого класса, в котором мы ехали вдвоем, лунные лучи освещали седую бороду человека, везшего меня обратно на юг. На уже бесплодных склонах горели в ночи костры. С каждым поворотом колес все больше звезд зажигалось в чернеющем небе. Самая страшная порка не заставила бы меня прижаться лицом к стеклу так плотно, как это наблюдение: толчки движущегося поезда, скорее, помогали ему, а не мешали. В грохоте вагонов на рельсах: жизнь... смерть, восхитительная игра? Как и наклонности этого человека: умственный выбор, чистое уравнивание. Точь-в-точь как мои книги – чистое безумие.

Поезд замедлил ход, я спрыгнул на перрон и зачерпнул воды в фонтане под звездным небом. Ночь была прекрасна, пустыня безмолвна.

Снова тронулись, мы были одни в вагоне. Он предложил мне шоколада, старательно закрыл легкий чемодан. Я впервые путешествовал вместе с ним. Купе было погружено в темноту, я смотрел на белые ночные облака.

– Я рад, что возвращаюсь домой, – сказал он, – снова увижу юг. Хотя увижу – сильно сказано, я ведь слепну. Я очень устал в Алжире: человеческие дела, пустая суета изумляют и быстро утомляют. Их заботы мне чужды и безразличны. Не кажется ли тебе, что нет ничего прекраснее и достойнее моей уединенной жизни, в стороне от людской глупости? Теперь я совершенно свободен и вступаю во тьму. Не хочешь последовать за мной? Это не для твоих лет, выше твоих сил, я требую слишком многого? Я почти не вижу твое-

го лица, твоих глаз, широко распахнутых перед миром, который я теряю. По правде сказать, мне хочется говорить лишь с тобой, с тем, кого я и впрямь совратил. Я умираю слепым. Или уже умер? Ну так да здравствует смерть! На самом деле, моя смерть интересует меня больше, чем твоя жизнь.

Луна озаряла алжирские холмы. Поезд следовал по огромной дуге, прорубленной в хаосе скал.

144

Дядя продолжал:

– Я отказал народу в праве управлять моей жизнью. Простонародье не способно принять сколько-нибудь глубокую мысль, все великое всегда было направлено против него, делалось назло ему. Наконец-то у нас появляются новые цели, новая гармония с вечностью, возможное становление, непредсказуемая авантюра, и я люблю тебя.

Он говорил со мной на том самом языке, который мог мне понравиться. Я задумался. Конечно, я был очень четко устремлен в Космос и смотрел на дела этого века с некоторым презрением, возможно, более развитым, чем у большинства людей. Внезапное, неожиданное осознание – почему бы и нет? Совершенно свободный человеческий тип<sup>5</sup>.

Он взял меня за руку:

– Я мечтал о тебе еще до нашего знакомства.

Поезд медленно катился по узкому ущелью, прорытому в гранитных выступях горы, чьи

---

5 «Наше победоносное искусство боится пережить свою победу без метаморфозы. Оно непрестанно вызывает о преемнике... Само воскресение? Дабы стать затем непредсказуемым искусством, без сомнения, более широким и глубоким, рожденным из этого воскресения» (Мальро, «Голоса безмолвия»). – *Прим. авт.*



острые пики выделялись на звездном небе. Я опустил стекло. Ночь была теплая. Запах песка и древних пальм опьянил ноздри. Внезапный въезд в туннель скрыл от меня этот лунный пейзаж, через равномерные промежутки темноту пронзал свет. Каждый десять секунд белый огонь бросал отблеск в земляную тьму. Поезд оглушительно гремел под сводом, разговаривать было невозможно, и каждый остался в этом темном пространстве наедине со своими мыслями. Цветное «Путешествие мертвых»: моя душа, набор знаков над сиянием ночей. Садовое искусство. Скрамное тканье – запуганное, восхищенное. Великолепие и жестокость Африки. Нить, свитая из крови и снов. Железная кровать на крыше.

Поезд мчался к пустыне. Для кого написаны книги? Слово колоссальная шахматная партия, прерванная в первые дни творения.

Для одиночек, отважившихся встретиться лицом к лицу с новыми просторами, ведь существует интеллектуальная предрасположенность к знакам, к югу. Впрочем, победные знаки предназначены для жестоких, хищных людей, увлеченных абстракциями.

Книги, пропетые вначале при луне.

И вновь мощный, как никогда, зов Океана.



## I

На африканском Западе меня пугают волны и рев шторма. Я сижу на песке, вдали от страшного прибоя. Черно-белые в лунном свете, волны накаываются на желтый песок.

Я наблюдаю неистовство шторма. Теплый ветер поднимает зыбь на Атлантике. Черные воды, разбиваясь и откатываясь, с грохотом роют песок, унося при своем отступлении гальку и камни.

Стеклянные шары, сорванные с сетей, и крашенные доски выбрасывает на берег, а затем вновь смывает водой, как только рассеется пена.

Спать здесь опасно: любой крик тотчас уносится ветром или может быть принят за птичий клик в грохоте волн.

Я приближаюсь к пляжному ресторану, купальщики наблюдают за штормом. Солнечно и тепло, я допиваю бутылку лимонада, оставленную на песке.

Все, о чем я мечтал: лазурь, ночь, море. У меня так мало слов, чтобы рассказать об этом. Мне хочется услышать свой голос. Вечером в «Музыкальной шкатулке» я купил жетон и заперся в

какой-то исповедальне – будто надел на лицо маску. Пару минут я вопил с закрытыми глазами, как когда-то в пустыне. Картонная пластинка, которую я хотел прослушать, автоматически вылезла обратно: аппарат не сработал и вернул жетон. Я перешел в другую кабинку и начал снова. Меня заверили, что этот – хороший, и я вышел, ничего не понимая. В первый раз я столкнулся с безмолвием... и это безмолвие не забуду никогда – точно рана у меня на лице, которая никогда не заживает.

Облака – в них вся Африка: в лохмотьях, разорванных ветром, она летит на Запад, подобно душам мертвых.

Ночью, сидя на корточках на песке пустынного пляжа, с картонной пластинкой на плече, я смотрю на атлантическую зыбь и черное небо.

Моя тень – с ножом в руке!

В нескольких километрах к северу сверкают городские огни. Я иду по берегу моря. Колючая проволока преграждает путь к дюнам, но сильные приливы уничтожили это прекрасное ограждение, и в кустах по-прежнему назначают свидания.

Город все так же остается лишь стройкой напротив темного Океана. Мне хочется услышать свой голос. Какой ответ, на чей зов – мой голос? Это ли мое бессмертие посреди человеческих образов? На улице я пью «кока-колу», танцую на тротуарах, дрожащими от радости плечами прислоняюсь к бетонному кубу. На пляже есть кинотеатр.

Меж деревянными опорами, у самых волн, натянута белая ткань. Этот экран – прозрачная материя, полностью освещенная проектором, – крепится веревками, которые привяза-

ны к колышкам, воткнутым в песок. На берегу моря, сидя рядом со своей пластинкой, я слушаю музыку, смотрю фильмы. Пена прилива вытесняет мальчиков, которые так же, как я, не желая платить, сидят немного в сторонке от кинозала под открытым небом.

Догадавшись, что скоро конец, я прогуливаюсь вдоль пляжных кабин, встречаю француза и увожу его под деревья, в колючие кусты.

Я хочу заработать больше, нахожу пустынный пляж. Сильнее, чем полицейских распоряжений, которые ничуть не мешают, я боюсь мальчишек старше себя: они тоже промышляют этим, да еще вдобавок нападают и грабят.

Я иду выпить молока в городе. С другим французом, довольно долго шедшим за мной, спускаюсь по большим бетонным лестницам. Возлестроек, где сияют огни дежурных ламп, останавливаюсь и взбираюсь на другой холм у моря. Он подходит ко мне на пляже и берет за руку, но я говорю, чтобы он больше так не делал, а держался поодаль.

У самых волн наши фигуры будут не так заметны, как на песчаном берегу, залитом луной.

Я жду его под деревом, он целует мои глаза среди теней и листвы. Мы идем под ветви. Он ничего не хочет и сразу дает деньги, чтобы не касаться их в разговоре. Он смотрит на мое темное лицо в лунном свете, порванную одежду и по-прежнему ищет сильный и сладкий запах моих плеч. Я ухожу.

На стройке я вижу деньги. Мне хочется еще. Переходя с одного холма на другой, я пробираюсь на другую сторону города, удаляюсь в пустынные поля. Там строится целый учебный комплекс: эти

новые здания, окруженные стальной решеткой, блестят под луной. Я прошу воды на кухне, затем выхожу и рассматриваю школы.

Они так же, как я, красивы и молоды. Кто-то выходит за ограду покурить, я встаю и осторожно спускаюсь в лощину. Тень топчется на тропинках, я слышу мужские шаги, он подходит ко мне, но не хочет ничем здесь заниматься, говорит, чтобы я подождал, пока улягутся повара, а позже он меня выпустит.

150

Я гуляю по склонам, свободный и веселый в ночном сиянии, вижу, как один за другим гаснут огни. Он свистит, приоткрывает металлическую калитку. Убедившись, что я следую за ним, босиком идет по гравию игровых площадок. Я не видел ничего подобного: такая легкая, ясная геометрия под звездами. Мое сердце стучит от безумной радости.

Мои босые ноги ликующе дрожат на бетонном полу кладовых, где он, не включая электричество, открывает прозрачные двери. Я вхожу в его комнату. Он зажигает свет: какой-то склад с единственным отверстием – деревянной дверью, которую он бесшумно запирает на засов, с бетонными стенами и походной кроватью между бочками. Зубные щетки, патефон, на бочонке для меня приготовлена легкая закуска. Как только я поел, он погасил свет, и я уснул, убаюканный шумом рефрижераторов, которые включались, едва лишь температура в холодильных камерах поднималась.

– Тебе нельзя здесь оставаться, – говорит он.

Я должен уйти. Прошу у него иглы для фонографа, и он уже не удивляется, после того как чуть не поломал пластинку у меня под рубашкой. В коридоре:

– Не заблудись.

Он приотворяет передо мной стеклянные двери. Я не совсем понимаю, что он шепчет; он хочет, чтобы я немедленно вышел на улицу.

Я еще немного околачиваюсь возле школ, он возвращается и дает денег, возможно, для того, чтобы я больше не приходил.

В этом краю глинистых оврагов я ложусь на холме. На меня тотчас нападают. Я вырываю свой нож, вонзенный в сухую землю. Бесшумно удираю в кусты.

151

Стоя в ночной тишине, смотрю на еще виднеющиеся школы, легкие и белые.

Потом, с картонной пластинкой в руке, пускаюсь бегом. Лечу над склонами. В ночном воздухе мчусь к Океану, вижу чистое небо. Спускаюсь с холмов.

Какая манера письма дрожит у меня в руках – перед метаморфозами Океана, ночью, вблизи волн?

Агадир делится на довольно удаленные друг от друга кварталы, со стройками между ними: каждые полчаса их связывает автобусное сообщение, которое после десяти вечера становится весьма ненадежным. Вдоль морского берега молчаливо курсируют местные такси. Я поднялся в Тальбордж, где всю ночь веселятся испанские и португальские моряки – там горят огни злачного квартала. Я пересек угасший и затихший Сук и спустился в узкую долину, обращенную к морю.

Я решил посмотреть, что показывают в кино. Денег не было, и, упираясь плечом в освещенный фасад, я пребывал в особенном состоянии из-за молодости и наивности африканских обычаев и образа жизни. Невероятное здоровье – ведь для этого необходимо здоровье – отличало меня от молодых французов. Я взглянул на звездное небо, морской ветер гнал большие белые и прозрачные облака. И тут я заметил арабского мальчика своего возраста, прислонившегося к стене на другой стороне улицы. Наши взгляды встретились, и я полюбил его всеми фибрами.

На нем была форма американского ВМФ и толстая шерстяная шапка. Его лицо отличалось красотой и нежностью, которые всегда придает



примесь негритянской крови. Он направился по главной улице в верхнюю часть города. Я пошел следом. Он шагал уже по тропинкам на холмах, озаренных луной. На миг я заметил на гребне его тощий силуэт, затем он, очевидно, сел и исчез в темноте – вероятно, за каким-то всхолмлением.

Я ни на секунду не подумал о засаде. Я не отступлю ни за что – ведь я желал этого, вопреки смерти... возможно, одновременно со смертью. Я раскрыл свой нож, и он с легким щелчком уперся в стопор. Я взобрался по тропинкам, таким светлым в летней ночи, по которым прошел мой товарищ. Я внимательно изучал расположение холмов и кустов. На сей раз я охотился для себя. Он ждал меня, лежа в тени куста, я сел рядом, и мы помолчали. Я положил руку на его хрупкое плечо, радостно обнял, и его лицо показалось мне еще красивее, чем возле кинотеатра. Как я обрадовался тому, что похож на него – так же беден, да и не француз. Он тоже положил мне руку на затылок: то был вечный мир Ночи, Светил и Кочевников, признавших меня своим. Между нами и речи не шло о деньгах. Я был его ровесником, мы говорили на одном языке, и когда наши губы сблизились, я закрыл глаза, принимая смерть, и любовь моего нового друга внезапно озарила мне сердце. Все те страдания, что я натерпелся от французов, искупались этим поцелуем моего товарища, нежностью его губ, живым дыханием.

– Сейчас я хочу уйти, – сказал я.

– Прощай, – ответил он, вставая.

Американский флотский воротник с белыми звездами мягко светился над его молодыми плечами. Он бесшумно шмыгнул в лощину.

Проголодавшись, я поднялся к Лицею, где летней ночью, в бетонной клетушке, молодой местный повар до отвала меня накормил, а я расплатился привычным способом. Я порыскал по окрестностям и вскоре, как и следовало ожидать, заметил его – тощего и изможденного, как черт. Он был старше меня, рядом с ним я казался здоровым и крепким: возможно, ему нравилось именно мое здоровье – так же, как непривычная европейская пища, которой он объедался в Лицее. Он наотрез отказался впускать меня ночью в школу и предпочел море. Он направился не за пляжные кабины, куда я водил клиентов, а дальше к дюнам.

Вскоре, в самой гуще листвы, на меня накатила паника. Помню, я не выпускал нож из рук: тьма была кромешная. Рев океана заглушил бы любой крик о помощи... Вдалеке виднелись только огни города, от которого нас отделял целый километр пустырей, изрезанных оврагами. Он упал рядом со мной и испустил самый мерзкий крик, какой я когда-либо слышал: панический вопль человека, не контролирующего свои самые чудовищные порывы. Он дал мне денег и ушел, нежно поцеловав в щеку. Я помчался по берегу моря: если нападут, пушусь вплавать по черной печальной воде.

В Суке я купил на заработанные деньги супа, мяса и «кока-колу». Ночники на земле, шепот полночных разговоров – моя извечная жизнь. Я заплатил пятьдесят франков за еду и свет. Пусть люди поскорее возненавидят меня, ведь они придут туда же, где мы находимся: земля станет такой же, как эта пустыня – разоренной и обожженной. Я также знал, что стал жертвой собственной чувственности и мне постоянно угрожает смерть. Больше всего я любил эти бесконечные ночи, полные интриг.

Моему товарищу из кино захотелось всё повторить, начиная с того же угла улицы. Я любил его. Убедившись, что я узнал его, он направился к холмам.

Ночью в Агадире холодно – земля теплее Океана, и это вызывает приток воздуха.

Я крепко повязал на плечах пеструю шерстяную куртку, раскрыл нож и догнал его на дороге. Он взял меня за руку. Я решил в следующий раз сам выбрать лощину, чтобы уменьшить риск вероломного нападения. Но будет ли следующий раз? Его легкие плечи под черным небом были ближе к смерти, чем к жизни. Одной своей красотой он увлекал меня к смерти, даже если не был в сговоре с бандами, рыскавшими по холмам с наступлением ночи: к тому часу уже начинали убивать.

Мы вошли в карьер, он облокотился о камни. Я поцеловал его в губы. Меня охватила неимоверно бурная радость, а этот карьер показался раем из камней, светил и ночи.

Наконец я прижал к сердцу свою тень. Он встал на колени и попросил меня сделать то же самое. Мы положили руки друг другу на бедра, наши дрожащие губы соединились, и каждый сразу понял, что ощущает другой.

От этого карьера, такого белого в свете звезд, исходило тепло. Мы долго лежали плечом к плечу. Он дал мне сигареты, спички, надел какую-то белую холщовую фуражку. Я спросил, как его зовут.

– Алек, – тихо ответил он.

– Но это же португальское имя!

– Так и есть, – сказал он, – ну и что.

Тогда я всеми фибрами благословил его, благословил наш союз, обняв друга за плечи. Я извлек изнутри себя древние сакральные жесты и

уложил его на гальку. Под плывущими звездами, по-прежнему стоя на коленях, он поцеловал мое лицо, а затем ушел и скрылся в ночи.

156 Я поднялся по бетонной лестнице, покурил при луне на белоснежных ступенях. Мой нож блестел на поясе. Мне вновь показалось, будто хищная геометрия строек двадцатого века намного превосходит замыслы архитекторов. Быть может, французы, полагая, что несут в Африку цивилизацию, построили всего лишь декорацию для древнего всемирного варварства?

Я спустился в город и наткнулся на помощника повара из Лицея.

– Где ты был? – сказал он. – Я искал тебя. Пошли в баню.

Я отказался. Ни за что не пошел бы туда в городе, где ежедневно совершались убийства. В темных банях убивать было проще всего: ведь любой крик, прокатившись эхом по залам, достиг бы ушей сторожа искаженным, похожим на неясный оклик купальщика.

– Потом пойдешь спать в Лицей, – добавил он.

Я согласился. На смену моей ошеломленной душе пришло бы слишком много блуждающих душ, так что я не мог отказаться. После холодного ночного воздуха даже в первом зале мне показалось жарковато, ну а самый дальний, освещенный маленьким светильником в нише под сводом, был сущим пеклом. Купальщики, такие же голые, как и мы, черпали из колодца кипящую воду. Он уложил меня к себе на колени и обмыл. Желоба с раскаленными углями обогревали липкие плиты, на которых вздыхали старики и дети с более светлой кожей, окружавшие нас. Мое сердце в ужасе колотилось. Никогда еще мое тело не пребыва-

ло в такой опасности, не забиралось так далеко во тьму. Открыть тяжелую деревянную дверь, липкую от пара, которая держалась на резинках и била меня по пяткам, и зачерпнуть холодной воды в плохо освещенном первом зале, – в моем аду это было не столько лучом надежды, сколько передышкой. Когда я вернулся в темную комнату, толкая перед собой шайку, мне вспомнились слова католической литургии о душах, томящихся в Чистилище: «Господи, даруй им прохладное, светлое и спокойное место». Я слегка сбрызнул себе плечи холодной водой и обмыл своего товарища, обессиленного от усталости: перед этим он так сильно растянул меня, что я даже вскрикнул от боли. Самое страшное в том, что в этом аду я видел свое настоящее отражение – голую красивую тень на стенах, занятую странной работой: тень, моющую моего друга, и тень, растягивающуюся на железных перекладинах.

Когда мы вышли в поле и я увидел мерцающие звезды, я весело побежал вместе с ним по тропинкам, поднимавшимся к Лицею.

Мы увидели огни «Жемчужины Юга» – самого красивого борделя в округе, расположенного на дне лощины. Там он сказал, что ему нужно кое с кем повидаться в деревне близ Яшеша и я должен подождать его на склонах. Возможно, это была всего лишь отговорка, чтобы не выполнять обещание и не вести меня ночевать в Лицей. Словом, я остался один в поле, в час ночи.

Благотворное действие бани, легкость, бурная радость! Я лег на спину на склоне холма, над бухтой проплывали серые облака – прозрачный бархат.

Я подобрал свой нож.

Я был тенью посреди ночных теней.

Для очистки совести я вернулся на склоны: он ждал меня.

Я пошел вслед за ним к Лицею – белому и очень красивому, с просветами.

Он впустил меня, открыв стеклянные двери, от которых у него были ключи. Как и в первый раз, я пришел в восторг от шума рефрижераторов, гудевших в коридорах, освещенных луной.

158

На походной кровати он тоже дал мне сигарет! «Каза-Спорт» и впрямь были разменной монетой нашей ночной жизни. Так или иначе, я слушался: несмотря на его жестокость, у меня были перед ним обязанности. В потемках я старался не прожечь сигаретным пеплом нашу одежду, аккуратно сложенную на бочке. Он уснул под тиканье будильника. Ему захотелось, чтобы я ушел, и я вновь оказался под открытым небом посреди ночи.

Я спустился с холмов. На заре я очутился вблизи волн, таких спокойных в первые рассветные часы.

Я обложил лицо одеждой, оставив лишь маленькое отверстие для злобного взгляда, обращенного к французам, которых я видел, словно в тумане. Ежеминутно с площадки близ Иннезгана взлетал самолет, который проносился на бреющем над густой растительностью, покрывавшей дюны, и разворачивался над бухтой. В этих зарослях местные интриганы готовили убийства под серо-белым, жестоким полдненным небом.

Меня охватили скука и ненависть, я проспал до вечера на обжигающем песке.

На голодный желудок нет ничего ужаснее, чем сумерки у моря: я предпочел бы умереть, нежели заговорить с французом.

Я замерз и тщетно пытался понять, кто я на этом пляже, где французское присутствие сталкивалось с пустыней... песками.

После садов Сахары я был здесь таким несчастным! Рядом находились теннисные корты, и мне захотелось поиграть: кровь была свежая и молодая, и мне нравилась игра. Но я прекрасно понимал – то, что для меня могло бы стать танцем на берегу моря, для французов было всего лишь проявлением тщеславия и, видимо, поводом для знакомства с женщинами.

Мне хотелось сыграть с Алеком.

С сердцем, полным грусти, я заткнул свои блокноты за пояс и проник в заросли, хотя вход был запрещен, и на меня набросилась сторожевая собака. Я раскрыл нож и вступил в борьбу. Я дрожал не от страха, а от ненависти. Я схватил собаку за ошейник, и она потащила меня за собой, зверски кусая. В смущении я зарезал ее. Я был весь залит кровью – своей и собачьей.

Дело было вблизи гидроэлектростанции, собаки бешено лаяли. Тогда я побежал по тропинкам – прямо-таки заплясал. Я танцевал в сумерках, лицом к городским огням. Мой бег напоминал полет зверя, онемевшего от радости, испачканного кровью. Я мчался в недвижном вечернем воздухе – был птицей, и ветер высушивал на мне кровь.

Помыв руки в море, я срезал путь через заросли, чтобы добраться до промышленного квартала, где сел на автобус до Тальборджа.

В кармане лежал билет в кино, и мне хотелось праздника. Было только без четверти девять, я купил в баре «кока-колу» и «краш» и заметил на

улице Алека – босого, в парадной форме американского ВМФ. Я решил повести его в кино за свой счет. Видя, что он наблюдает за мной, я демонстративно заплатил буфетнице, зажал в кулаке сдачу, вышел на улицу и, облокотившись о грузовик, оставил на крыле сто франков. Он взял деньги, как только я отошел к кинотеатру. Незачем показывать, что мы знакомы. Он был сыном моряка, это видно по осанке, плечам, плавным движениям: он устремил на меня взгляд с застенчивостью, присущей морякам. Наконец он понял и купил билет.

Он сел передо мной, в ряду с деревянными креслами, и в самом начале сеанса уснул, свернувшись калачиком и опустив голову на плечо. Я видел его нежную черную щеку, молодые мужские ноздри. Посреди ковбойского фильма, когда все палили из ружей, он резко очнулся и, казалось, ничего не мог понять. Попытался снова заснуть, но отчаялся из-за стрельбы и встал. Я нашел его в туалете, но не решился этим воспользоваться. В проходе рядом с экраном, прислонившись к бетонной стене, я поцеловал его в губы под грохот кинохроники.

В антракте он своим тихим, спокойным шагом направился в поля.

Мне хотелось хотя бы на один вечер исключить возможность засады, я молча обогнал его и спустился к морю. Перед кино купил в аптеке пенициллин для глаз и тюбик салватилы, ведь подцепить сифилис было раз плюнуть. На губах остался соленый привкус мази.



Мы обнялись в земляной яме. Я дал ему плитку шоколада и оделся в военную форму. Белоснежные леса строек на светлых склонах выделялись на небе, еще пустые окна были обращены к морю. До пустыни – подать рукой. Наши кочевнические ласки и поцелуи гармонировали с такой еще молодой геометрией. Он упал в мои объятия и заснул, положив голову мне на руки. От него пахло костром. Я дежурил над ним в ясном свете луны.

Нас чуть не застукали! Я тщетно попытался раскрыть нож. При спуске из одной лощины в другую приходилось падать на камни, цепляясь за корни.

Он мгновенно перебежал асфальтированную дорогу вдоль берега, а я дал маху, вступив в круг света от фиолетовых ламп на заправке. Мы снова нашли друг друга в заброшенном саду, за пляжными кабинами.

Там были колючие кусты, озаренные лунным светом. Под листвой дерева, такого же молодого, как мы, я закрыл глаза от безумной радости. Он уснул в моих объятиях – провалился в сон. Он сказал, что его брат погиб в Индокитае.

В тени ветвей я разбудил своего друга. Его большое, молодое и тощее моряцкое тело спало у меня на руках: он повернулся спиной, и я чуть было не заснул от сладости жизни. Это был мой друг под звездным небом. Он поцеловал меня в щеку и ушел промеж кустов, а я направился на пустынный пляж.

Я уже начинал любить иссиня-черный Океан, который обрушивался на чистый песок.

На стройке, у шестиэтажного здания, я прислонился лицом к витрине книжного магазина, закрытого в этот поздний час, и при свете луны

различил цветную афишу со спящей женщиной и полинезийскую маску.

Веселья мне было не занимать! Я плясал от радости на тротуаре в Новом городе.

Агадир пока еще оставался проектом, а не обжитым городом.

Каким прекрасным был этот город ночью! Сидя на бетонном пороге перед книжным магазином, я замерз, поскольку был слишком легко одет для этой улицы, где наслаждался минутами покоя у кондитерских и садов. Не мучиться от страха в два часа ночи было редкостной роскошью. Я слышал шум моря. Образы Полинезии осеняли мои уличные блуждания. Передо мной открывался более свободный и красочный мир... Прислонившись лицом к витрине агадирского магазина, я почувствовал себя таким здоровым и живым перед лицом смерти, что захотел большего.

Я поднялся по большим бетонным лестницам в Тальбордж. Преимуществом злчного квартала было то, что здесь всю ночь горели разноцветные лампочки у женщин. У каждой было радио. Я слушал музыку.

Когда я сыт, моя участь кажется мне восхитительной, но сегодня вечером я теряю сознание от слабости.

Я замерзаю на пустынном пляже, пока на еще голубом небе один за другим зажигаются городские огни, а рабочие уходят со строек.

Ни единой церкви или святилища! С одной стороны – печальный красный Океан, а с другой – геометрический узор, которым Запад покрывает землю, и на холме, слегка особняком, высится Агадирский лицей, где учатся только до третьего класса. Но существует ли вообще высшее образование?

Облокотившись о песчаный берег и сжимая в руке нож, я призываю будущее, делаю, что хочу.

164

Здесь есть сады, стадион.

Волны прилива совсем рядом с моей радостью, моей свободой.

В самой большой чаще на юге Агадира с наступлением ночи становится так темно, что она превращается в бескрайние зеленовато-черные джунгли.

Я нахожу Алека перед кинотеатром, как и в первый раз. Он ждет меня всё такой же – со своей шерстяной шапкой и нежностью. Он уходит к морю. На огромной полосе песка и камней, отвоеванной у темного Океана, у самых зыбей, поднимаемых теплым ветром, я догоняю его и почти прохожу мимо, не замечая. Я целую его в губы, обнимаю за плечи. Мы вытираем об одежду пальцы, испачканные нашей спермой, он стоит коленями на песке, а я ухожу по дороге, ведущей в порт, и поднимаюсь по бетонным лестницам в сады.

Мои ноги дрожат от радости, пока я иду по сухой, белой земле холмов. Я вдыхаю ночной воздух, раскрываю свой нож. Когда я уже почти догоняю своего друга, он почему-то убегает в ложину и скрывается из виду. Я сторонюсь теней: там на меня могут напасть, а я не успею перескочить с камня на камень. На окраине города

я боюсь французских законов, а во всех остальных местах – ночи и насильственной смерти. На тропинках карьеров в моей руке блестит нож. Я отыскиваю следы друга, перехожу широкую, черную асфальтированную дорогу, поворачивающую на середине холма. Прежде чем приблизиться, обхожу каждый куст кругом. Я вижу светлые звезды. Он тихо свистит, берет меня за руку. Мы шагаем по белоснежным камням, сплетая пальцы под лунными лучами.

165

В тени большого недостроенного здания, в сиянии безлюдного поля, мы облакачиваемся о сухую землю. Он прислоняется к моему плечу, и мы смотрим в темноту.

Вдоль побережья проходит асфальтированная дорога. Пляжные кабины, едва заметные в темноте, обозначают места для купания, а дальше – пустыня на берегу Океана, вплоть до испанского анклава Ифни, в двухстах километрах к югу. После захода луны небо становится черным, и каждые десять секунд белая волна обрушивается на песок, смоченный приливом. Когда поднимается ветер, волны бьются о берег, дробясь и рассеиваясь у больших бетонных кубов на поверхности воды. Отступающая вода оставляет лабиринт ходов, но, безмолвно возвращаясь назад, вновь поднимается в темноте.

В большом гараже, прислонившись плечом к стене, я сплю, стоя на пороге этого огромного, нового, беленого пролета. Шерстяная накидка привязана за веревочки, и я весь пропитан кисло-сладким запахом пустыни.

Заметив француза, я отхожу от стены, взглядом обращаю на себя внимание и медленно удаляюсь к дюнам. Я жду его в кустах. Он не знает, что

мужчин, желающих «заняться чем-нибудь с мальчиком» ночью, на окраине города, преследуют и убивают.

Он мочится, так же, как я, вырывая струей ямку в песке. Мы идем в темноту под купой деревьев. Прежде чем подойти к нему, я убеждаюсь, что на пляже никого нет, совершаю обход и возвращаюсь к французу. Мы забираемся под листву. Я ползу вперед и жду его, лежа на сучках: обламываю веточки, чтобы те не выкололи глаза. Нам долго мешает один пенек. Француз целует меня из любезности в губы и ожидает вполне определенной благодарности.

Он становится на колени передо мной и, склонившись над моей грудью, забывает следить за полями. Застонав от боли и желания, я прошу его поторопиться.

В зеленой беседке, вместе с этим мужчиной, невдалеке от волн, я задерживаю дыхание. Я думаю, что здесь он способен защитить себя: открыт лишь один проход, и его пистолет блестит на камне. Он падает рядом со мной, хрипя, словно в агонии.

В этом хитросплетении низменных происков под ветвями он угощает меня сигаретами: он умеет прикрывать красный пылающий кончик ладонью, чтобы его не было видно в листве. Он облизывает мне глаза, голову, и я вижу страх у него на лице, слышу, как бьется его сердце. Я говорю, что лучше на пляже, чем в дюнах, где мы уединились: здесь просто разбойничий притон. Он идет туда, попросив, чтобы я следовал за ним поодаль.

Моя накидка развевается на ночном ветру, я шагаю за ним и прыгаю на песок, где он уже сидит.

Свет на вилле позади пляжа усиливает темноту, в которой мы прячемся у моря. Нас не застанут врасплох, ведь если кто-то сойдет с дороги, его тень тотчас ляжет перед нами на светлый песок.

Он целует меня в губы и плечи под накидкой, как будто ищет. Он сам выхватывает свое достоинство, его голова дрожит в моих темных руках, когда я поддерживаю ее в конце. Его можно было бы убить, не приводя в чувство: он и сам этого хотел. Широко распахнутыми глазами смотрит он на меня в своих одиноких объятьях – на мое темное лицо на фоне неба, плечо, лоскут ткани, вырванный его же руками.

167

Возле пляжных кабин к нему возвращается самообладание. Я вижу у себя в руках голубые банкноты, которыми обязан случайности, ведь я даже не знаю, что продаю. Он договаривается о новой встрече. Когда он уходит, я в последний раз касаюсь его плеча у Океана и остаюсь перед пляжными кабинами, а затем иду вдоль берега, то и дело настигаемый приливом, и мои глаза, привыкшие к темноте, видят на мокром песке под ногами отражение моего тела.

Однажды вечером он повел меня к себе в Новый город. Витрины книжных магазинов блестели посреди пустырей. Агадир – город без тротуаров, с фасадами, обращенными к пескам, темному Океану и оврагам, освещенным прожекторами. Он жил наверху большого бетонного здания, в первой современной квартире, какую я видел, с окнами, выходящими на бухту.

Он любил музыку – я тоже. Он предложил алкоголя, пирожных, включил радио. Я заметил патефон и твердо решил послушать собственный голос. Один чернокожий американский певец пожелал, чтобы его прах был смешан с воском его пластинок. Какая прекрасная идея бессмертия! Но у меня была своя. В конце концов я провел приятный вечер в объятьях француза. Развлекаясь со мной, это тип даже не догадывался, что я думаю лишь о собственной могиле.

Я ушел от него на рассвете и направился к пляжу, где проспал до вечера, лежа на животе и подложив одежду под голову.

У меня было свидание в одиннадцать ночи. Спрятав свой голос под рубашку, я поднялся в Таль-бордж. «Музыкальная шкатулка» в кафе-молочной



была настоящим раем для таких мальчишек, как я: португальцев, негров, арабов. Выпив немного молока, я послушал музыкальный автомат. Большинство из нас не умели ни читать, ни писать и поэтому наслаждались музыкой, которую необычайно тонко чувствовали, особенно, если ночевали на улице, а в жилах текла негритянская кровь.

Когда прижимаешься животом к этим светящимся автоматам, ритм проникает в тело, а звук заглушается: слышно только непрерывное «бум-бум!» Я заметил на улице Алека и улыбнулся ему. Он не отважился войти босиком – туда приходили в сандалиях... Гуарани, Тумук-Хумак – чуждая ночка! Мы потанцевали немного перед автоматом: все дело в расовой принадлежности. С револьвером в кармане я отправился в Новый город.

Мой чувак накормил меня, и мне уже начинала нравиться его роскошная квартира. Я показал пластинку:

– Это я.

Он не мог мне отказать ни в чем. Она была покрыта песком и потом: пришлось почистить, прежде чем ставить на проигрыватель. Я не узнал собственного голоса, тем более что я кричал в звукозаписывающей кабинке: казалось, мой голос доносится из-под маски – чужой, глухой, но красивый.

Чувак скривился и, немного заволновавшись, убавил громкость:

– Ну ты и горланишь! Откуда у тебя это?

Я показал на пустыню. Затем он напоил меня водкой: все выживают, как могут, и этот способ мне нравился. Я спустился за сигаретами. Волны разбивались перед книжным магазином, закрытым в этот поздний час. Лунные лучи позволя-

ли читать названия, различать полинезийские цвета, которые так гармонировали с моей новой жизнью, шумом прибоя. Неожиданно я заметил книгу «Старик и мальчик», узнал синие прописные буквы издательства «Минюи», и сердце забилося от волнения.

Возвратившись к своему клиенту, варившему яйца на кухне, я исследовал его библиотеку и наткнулся... на эту книгу. Удобно устроившись на диване, раскрыл ее и задумался над своими делами. Печать была ниже всякой критики: мои цветные книжки в пустыне, разосланные в Азию и Европу, отличались совсем иной энергией и извительностью.

От «Путешествия мертвых» я ожидал большего.

Странный склад ума: по правде говоря, я боялся – полиции, смерти.

Огни Агадира горели, подобно огромной туманности. Луна освещала бухту, а в квартире – книги, пластинки.

Мне нравилось это ремесло, позволявшее в современном городе вести жизнь кочевника, всегда готового убежать, исчезнуть в ночи, не обнажая свою душу. Многие арабские и чернокожие мальчишки становились преступниками не в силу порочности, а просто потому, что отвергали город. Я обращался к образам своего времени и к тем, что вновь возникают из прошлого, с чистотой дикаря, который ходит в кино, оставаясь при этом дикарем. Все мировое искусство было в моих руках, но я мог сказать, что мне тоже ведом страх...

Мои цветные книги:

Исчерканные, раскрываемые по ночам, зарытые в песок и вновь открытые! Похожие на скромные фетиши! В каком-то смысле – мощный пинок под зад современному искусству, так и не сумевшему придумать ничего своего.

Странные книги: порой состоящие из знаков, следов. Африка нуждается в знаках, а не рассказах.

Я вышел. Во время рамадана в кино устраивают два сеанса за вечер. В ожидании того, что начинался после полуночи, я уселся на тротуаре перед книжным. Улицы были безлюдны, большие беленые здания из бетона выделялись на черном небе. Какой из меня художник? Под рубашкой лежал револьвер, а мое отношение к искусству выразалось в безусловном преклонении. Я слишком сильно боялся для неверующего человека, ничто не отделяло меня от божественных ликов.

Синие прописные буквы в «Старике и мальчике»: я видел их там, где следовало – в ночной тишине. Лазурь и позолота цветных репродукций окаймляли признаки моей победы. Эта книга среди книг: моя душа, защищенная от смерти.

Я случайно победил однажды вечером в Африке.

Единственная победа, которой я желал и которую заслужил. Она нисколько не изменила мою жизнь. Хоть я принадлежал к миру искусства, я избегал мира художников. Прижав свою смуглую грязноватую руку к стеклу, я узнал Индию и Египет, которые так любил: мой непорочный взор бдел над ликами мертвых.

Я поднялся в Тальбордж по тропинкам на холмах, по небу плыли облака. Мне нравился Агадир: город был прекрасен, а его план проду-

ман с самого начала – жилые массивы, разбросанные по холмам вдоль моря. Я мог по достоинству оценить умную мысль, насладиться геометрией этого времени, но был способен и на кое-что другое – оставаться дикарем.

Далеко в ночной темноте сиял освещенный фасад кинотеатра, я поднялся по большой бетонной лестнице. Агадир – громадная стройка, где в любую секунду тебя могли убить. Его овраги – рай для мальчишек вроде меня.

Показывали «О, Кангасейро»<sup>6</sup>. Я купил билет, но Алека нигде не заметил. Я встал в конце зала, прислонившись плечом к стене, чтобы можно было курить. Было очень жарко, сквозь отверстия в сводах виднелись звезды. Фрески – золото на лазури – украшали стены, освещенные экраном, на котором рычали цветные хищники: в первой части демонстрировались старые фильмы. Как только я свернул сигарету, началась кинохроника, – «еженедельно передаваемая “Эр-Франс”», – и заиграла вагнеровская музыка, вызвавшая бурный восторг у арабов. Зал был набит битком.

В антракте я увидел Мубарака, мы поболтали в коридоре, и он сообщил, что на каникулах работал в кабачке на берегу Океана. При первых тактах «О, Кангасейро», когда зал вновь погрузился в темноту, он сказал:

– Жди меня на пляже.

Зал гудел: кочевники, впервые пришедшие в кино, рабочие с консервного завода, арабские моряки – все очень молодые, город юношей в лохмотьях и американских военных излишках, в котором деньги тратились только на удоволь-

---

6 Фильм бразильского режиссера Лимо Барreto (1952).

ствия. Ноздри пьянил резкий запах дешевых духов, сладострастие и смерть пленяли.

Я спустился к морю, подождал Мубарака, лежа ничком на холодном песке. Нужно было оставить револьвер при себе, но в механизм не должен попасть песок. Я завернул пистолет в носовой платок – слишком маленький, но, по крайней мере, он защищал затвор. Я посмотрел на свой 22-й калибр: чем лучше я вооружен, тем свободнее. Я поцеловал его как соучастника своих хитростей и интриг. Мубарак всё не приходил, хотя был уже четвертый час ночи. Прилив бился о песок. Боялся ли я? В общем-то нет. Я слышал непреодолимый зов. Успокоенный близким океаном, откуда не могло прийти никакой опасности, я наблюдал за пляжными кабинами, из-за которых должен был появиться Мубарак или – смерть.

Это был Мубарак, такой же тощий. Он тихо свистнул, поскольку я сливался с темным песком, и я встал. У него были ключи от дощатого барака рядом с кортами. Закрыв за нами дверь, он включил электричество: я увидел бутылки аперитива, лимонад и рожки мороженого. Он открыл холодильник.

– Ешь.

Я наелся до отвала булочками, ирисками и круассанами, не обращая внимания на красотку с рекламы «кока-колы», прибитой к стене. Мубарак нежно поцеловал меня. Плевать на красотку. Он выключил электричество и потащил меня в закуток, где у него был матрас – наверное, он работал здесь ночным сторожем. Доски были еще теплые, мы задыхались внутри. Я уснул в объятьях друга, но, прежде чем провалиться в темноту, услышал, как он вытерся газетой.

Рассвет я встретил на пляже. Я валился с ног от усталости и заснул у перламутрово-розовых волн.

Меня разбудил прилив: погода изменилась. Под серым небом Атлантический океан швырял на песок огромные волны. Вдалеке на юге я заметил Алека: точка, одинокий рыбак. Дюны были безлюдны – ни одного купальщика, лишь эта точка где-то вдали...

174

Войдя в воду по пояс, он закинул удочку далеко в море. Его чуть не накрыло высокой волной. Привязав корзину на талии, он осторожно, маленькими рывками, тянул к себе длинную леску. Пойманная рыба забарахталась в пене, и он оглушил ее, стукнув о голые ноги.

Он был молод и молчалив, с нежной улыбкой на губах.

– Лучше ловится в устье вади, там дальше, – он показал рукой на юг.

Когда корзина наполнилась, он вышел из моря, насобирал веточек, вырыл в песке ямку, выпотрошил рыбу и липкими от крови пальцами развел костер.

У меня был хлеб. Пока наш обед жарился на углях, он лег рядом со мной. Он был сиротой: араб с примесью негритянской крови. Я поцеловал его в губы, соленые на вкус.

– Сегодня вечером после кино.

– Ага.

Он ушел. Я стал выслеживать французов, задержавшихся на пляже, – постыдная ловля в сумерках, – но так ничего и не поймал. Я проголодался.

На холмах жгли траву, и после этого земля на безбрежных просторах пахла ладаном. Как только спустился вечер, все стало приятным – по запаху и на вид. Как я был одинок!

Лазурные воды прилива смешивались с океаном. У меня был с собой табак, спички, нож... и экземпляр «Путешествия мертвых»: я прочитал пару страницу и сжег их в вечерней тишине, на берегу вади, обнаженном отливом.

Я увидел доски – обломки неведомых приключений, выброшенные океаном.

Ветер стих. Небо стало чистым, слегка золотистым. Фиолетовые волны разбивались с негромким плеском. Ничто не нарушало вечернюю тишину. Пустыня была прекрасна.

На дюнах появились местные девушки в синих одеждах. Придя из промышленного квартала, они пересекли довольно опасную чащу, протянувшуюся к югу от Агадира, вошли в море и искупались одетыми – ради приличия. Это были работницы консервного завода, еще сохранившие кочевнические привычки: присев на корточки, они молча, тщательно мылись в золотистой воде благородными, очень древними женскими жестами.

Я решил найти работу. Я был простодушен, примитивен, слегка застенчив и любил океан. Я не спеша направился к порту. Заметил Алека немного в стороне от купальщиков и обрадовался, что он остался ребенком пустыни, слегка отстраненным от людей. Я достал из кармана пачку «Каза-Спорт», вынул три сигареты: лишь он один, растянувшись на отпечатке моего тела, заберет сигареты, спрятанные в песке.

Над океаном спустилась ночь, в больших бетонных зданиях зажглись первые огни. Во мне нуждались на борту рыболовного судна. Было семь часов вечера, и я с радостью поднялся в Таль-бордж – предстояло еще столько всего сделать до прилива в три утра. Я проголодался. Поужинав в

еврейском ресторане, вышел на улицу с револьвером, спрятанным под одеждой, немного пьяный от вина, безудержно веселый, и жизнь показалась довольно опасным праздником. Океан укреплял здоровье, я был уверен в себе, счастлив, готов убивать и испытывать оргазм. На холмах горели костры кочевников. Прислонившись к стене, я слушал музыку, доносившуюся из ярко освещенных магазинов, открытых до полуночи. Современное Марокко устраивало меня своей доступной роскошью, близость океана придавала ей бесподобную пикантность. Моряки спускались в порт на такси и без сожаления выкладывали по пятьсот франков.

Зато Алек всегда был беден и в сущности нигде не работал – молчаливый, слегка потерянный в толпе, казалось, он ни с кем не знаком. Неторопливо зайдя в кино, я намекнул, что готов последовать за ним. Он подошел ко мне, якобы заинтересовавшись снимками, прибитыми в вестибюле, где звенел звонок, возвещавший о начале сеанса. Его белая холщовая фуражка напоминала головные уборы японских солдат, у него было юношеское лицо, узкие плечи, слегка прыгающая походка. Он направился к холмам, а я шел за ним на приличном расстоянии. Я спросил у полицейского время: девять часов вечера.

В верхней части города я пошел по тропинке, поднимавшейся к горным отрогам, ярко освещенным луной. Экскаваторы вырыли котлованы в сухой земле, строящиеся виллы с четкими прямыми углами и бетонными стенами блестели в ночи. Словно легкая тень, Алек взбирался по склонам. Я достал револьвер из-под одежды, с сухим щелчком взвел курок и сунул оружие за пояс. Я зашагал по



холмам, вступил в ночной мир – тот единственный, что любил. Звезды осыпались на западе, а другие беспрестанно появлялись и восходили к зениту. В сущности, мы не совершали ничего сексуального: обнявшись, извергали сперму на камни и порой так боялись, что у нас вообще ничего не получалось.

Я увидел на тропинке его божественный силуэт и пошел навстречу. Он остановился на фоне ночной лазури, мы довольно далеко забрались в горы и наконец снова сошлись. В прошлом году я еще делал это без оружия...

– Добрый вечер, – тихо сказал он с нежной улыбкой.

Он был тем спутником на века, о котором я мечтал всегда: его чернокожее лицо излучало исключительное обаяние. Щебень осыпался у нас под ногами. Мы увидели лицей – белый, будто эфирный, он одиноко маячил над бесплодными склонами. Белый гравий площадок для игр сверкал в лучах светил. С ножом в руке, Алек шел впереди под звездным небом – на краю холмов, посреди бескрайнего лунного пейзажа. В нем была юношеская мягкость, он сел в тени куста, возвышавшегося над сухими оврагами.

Я подошел к нему, положил револьвер на землю – в наших действиях была некая ритуальность. Не говоря ни слова, я положил руку ему на плечо. Страх смерти придавал нашей любви шикарности. Его красивые глаза со светлыми зрачками смотрели мне прямо в лицо. Мне нравилось в нем всё: деликатность в дружбе, молчаливость. Я взял его за руку, наши пальцы сплелись над охряной землей, и я поцеловал его полутемное лицо в прозрачной ночи. Под тканью угады-

валось нежное и теплое плечо, юное и чистое сердце: меня поразила красота его черт. Я испытывал к нему чувства, пришедшие из далекого прошлого, и наш образ жизни восходил к первым вечерам Творения: так же уважительно я спал бы с собственным братом, ведь Алек воплощал мое самое прекрасное представление о любви. Наверное, этому арабу нравилась опасность, связанная с нашими встречами в удаленных местах, а также моя молчаливость и повадки – такие же примитивные, как у него. Он неестественно согнул пальцы:

– Нет? – спросил он.

– Нет, – ответил я.

Успокоившись, он отвечал на мои поцелуи с такой человеческой и серьезной лаской, что я был готов умереть от счастья. «На всю жизнь, – подумал я, – сохраню это образцовое воспоминание о нем». Он прижался красивым лицом к моему плечу, его одежда пахла близкой пустыней – так же, как и его губы. Он был моей душой, пришедшей из тьмы, моим вторым «я», полным ласки и доброты ко мне. Он поднялся. Стоя посреди сухих трав у края холма и обнимаясь, мы были тем, о чем я сказал.

Он ушел.

Сжимая револьвер в руке, я оставался на камнях.

Кто я, чтобы заниматься любовью вот так – с широко раскрытыми глазами, на скалах у самого неба? В своей аванюре я навсегда углубился в мир светил. Я не был французом настолько, чтобы превращать любовь в удовольствие.

Посреди лунной красоты горных подступов я спустился к Тальборджу. Спрятал оружие под одежду – не торопясь, вернулся на легальное поло-

жение. По ту сторону гор начиналась огромная стройка, которую ночь вырывала из рук людей. Я уселся на ступенях бетонной лестницы. На полпути между городом и небом закурил, чего не стал бы делать выше на склонах. На губах все еще оставался привкус Алека, воспоминание о его ласках: я возвращался к жизни, вдыхая ночной воздух. У «Каза-Спорт» кисловатый вкус. Облокотившись о бетон, я курил, близкий к смерти настолько, чтобы наслаждаться этим, как редкостным удовольствием. Я утолил самые страшные свои инстинкты, но не пресытился. Я встал – мне было чем заняться, помимо мечтаний.

Антракт заканчивался. Прислонившись плечом к стене, я курил в глубине зала. В полночь вышел на улицу – оставалось еще три часа до того, как идти в порт. Я поднялся к своему чуваку в Новый город. Пересек сады. Перебежал асфальтированную дорогу. Опасное время: уже начинали убивать. Океан, очень спокойный и синий под луной, накатывал на пустынный пляж. В открытом море светились красные и зеленые огоньки лодок, в тишине среди ночи прокричал петух.

Я позвонил. Он был очень любезен со мной и слегка ироничен:

– Чувствуй себя, как дома!

– Я смотрю ваши книги.

Цвета и знаки обостряли жажду жизни, мне нравился оргазм, ночь и близость смерти, я смотрел ей в лицо и изучал свои мысли, когда было страшно.

– Пойду потом в бордель.

– А где ты спишь?

– Утром на пляже.

– И тебе это нравится?

– Что?

– Рисковать своей шкурой в горах?

– Да, неодолимый зов. Как океан, как искусство. Я нашел работу, теперь мне нужно идти.

Я прошел через Сук. В ночной тишине стреноженные мулы звенели цепями и топтались на белой земле. Этот базар в лощине – именно там жил мой друг! Мне захотелось спать рядом с ним, воздух был по-летнему теплым. Я увидел, как он вышел из дощатой хижины, жестяная крыша блестела под ветвями.

Думая, что поблизости никого нет, он босиком сделал пару шагов, посмотрел в чистое небо: форма американского ВМФ облегла его щуплое тело. У него на губах появилась грустная улыбка, и он сказал, что скорбит о родителях, что он сирота.

Он вернулся и закрыл за собой дверь хижины. Я любил его. Мубарак, наверное, спал на пляже, эта совместная жизнь мне нравилась. Город жил своей, моей, жизнью нашей молодости, в новом мире, открытом океану! На самом юге Марокко.

«Уже через час, – подумал я, – выйду в океан!»

Я не знаю другого такого же восхитительного борделя, как агадирский: на склоне холма – настоящая деревня из беленого бетона, около сотни каморок для женщин. Я поднялся по двадцати ступеням, охраняемым солдатами, и добрался до единственного входа. В самом начале – фонтан, алые плакаты «кока-колы» и сводчатые залы, в которых звучала арабская музыка, а дальше – женские каморки вокруг огромного покатога двора, похожие на соты. Все имело очень современную, идеальную геометрическую форму – образцовый бордель в африканской ночи. Многие девушки

были чернокожими, их матери, сидя на корточках у порога, мешали угли в земляных печах: в воздухе витал запах жареного мяса. Матрона с жезлом в руке, сидевшая на стуле посередине двора, следила за порядком. У каждой женщины было радио. Там жили негры, во дворе слышалась барабанная дробь.

Несколько окон, выходивших в поля, были забраны железными решетками. Какой архитектор возвел это великолепие? Это и впрямь был мир женщин, волнующая женская геометрия: идеальный ужас – чистейший и ослепительно-белый под звездами. Чернокожие девушки нередко были слегка помешанными, я увидел, как одна танцевала во дворе, в одиночестве, очень медленно, с закрытыми глазами, словно слепая, иступленно вытянув руки вперед. Там собралась уйма народу: моряки спускались в порт только в час прилива, деятельность борделя напрямую зависела от движений океана и более или менее удачной рыбной ловли. Агадир существовал только благодаря рыбе, в частности, сардинам. И над всем этим – музыка. «Радио Марокко», «Каир»: навязчивые голоса арабских женщин, вопли под звуки скрипок в сиянии ночей. В связи с покушениями в борделе не было ни одного француза. Порыв жизни и страсти, пение, доносящееся из нутра, а не из глотки: как можно было предположить, что народ с такой музыкой признаёт господство Запада? Я поднялся к девушке и занялся с ней сексом, точно с океаном: она баюкала меня. Затем вытащил член, липкий от крови, и помыл в фонтане. Намазавшись мазью, послушал музыку в первом зале: там были скамьи и стойка. Слегка безумная геометрия вызывала сильное сексуальное возбуж-

дение, которому я был подвержен, поскольку редко спал с женщинами. (Они старательно подмывались, приседая над жестяными тазами: у них были девичьи манеры, на спины спускались длинные косы.) Выпив «кока-колы», я поднялся наверх еще три-четыре раза. Проститутка была для меня идеальной женщиной на своем подлинном месте – настоящей женщиной, созданной для того, чтобы отдаваться за деньги, без любви и удовольствия. Признание в самых сокровенных женских желаниях вовсе не отталкивало, а наоборот, располагало. Были ли у них дети? От кого? Да от нас всех.

На ступенях борделя, при свете карбидной лампы, торговец продавал хлеб и мясной шашлык. Я немного поел. Асфальтированные дороги огромными дугами спускались у края холмов к порту. Я срезал путь по тропинкам. Зеленая листва садов блестела в отсветах океана. В ночной тишине я не любил женщин, предпочитая Алека и свою привольную жизнь: лишь он был дорог моему сердцу. Я решил устроить его на рыболовное судно, где нашел работу: тогда бы я спал с ним в открытом море.

Перед тем как выйти в море, я прошел мимо книжного магазина, где сидел и читал очень молодой негр, ночной сторож. У него было красивое умное лицо, он поднял глаза, но не заметил меня, поскольку я стоял в тени сводчатой галереи, у въезда в большой зал для грузовиков и автобусов. Что он читал? Его лицо казалось живым символом размышления, лучилось здоровьем, он был благоден, человечен. Наконец-то история мысли ускользала от Запада. Волны пенились на вечернем пляже, в начале новых времен.

В витрине – журналы, книги, цветные репродукции: все приметы человеческого духа, вновь обнаруженные на некрополях. В звездной ночи парижское искусство – позорное вырождение всех стилей – явно проигрывало по сравнению с истинными ликами божеств. Фетиш волновал гораздо сильнее, чем Пикассо, ведь первый обладал душой, а у второго ее не было; первый был плодом глубоких раздумий, а второй – быстрой, неприемлемой игры. Если тот труженик из Барселоны сумел прикоснуться ко всем дикарским искусствам, не поняв в них ничего, это вовсе не является заслугой Запада. Наконец-то боги встречали на берегу Океана такие же чистые, как у меня, взоры и возобновляли с людьми диалог, прерванный по вине Запада.

Теплый ветер поднимал воды Атлантики. Мой голос, еще взволнованный дыханием моей жизни, гармонировал с красотой вселенной, которую я открывал для себя.

Я провалился в сон – спал в трюме, в удушливой теплоте дизельного двигателя, убаюкиваемый движениями корабля, тяжело бороздившего волны. Всего пара досок отделяли меня от Океана, гул которого до меня доносился. Преодолевая килевую и бортовую качку, корабль вновь и вновь принимался за свой упорный труд, под шум воды и пены, сокрушаемых нашим движением. При каждом ударе громадных волн, приближение которых я с восторгом угадывал, мне казалось, будто я умру от радости. Я уснул беспробудным сном: такой была моя первая ночь в море – неизведанное счастье в ослепительном свете электрических ламп, освещавших трюм.

Меня могли бы убить, так и не пробудив от самого глубокого сна, который я помню. Когда я очнулся, в открытый люк виднелось голубое небо, лампы погасли, а двигатель остыл. Я поднялся на палубу: мы стали на якорь в устье вади, напротив пустыни.

Мы снялись с якоря в полдень и начали тралить в открытом море. Мы находились примерно в пятидесяти километрах к югу от Агадира, недалеко от Рио-де-Оро. На море был штиль.

Когда наступил вечер, я сошел на землю, чтобы насобирать веточек. Я увидел птичьи следы, легкий ветерок поднимал зыбь на болотах. Ни единого звука, если не считать шума океана.

Вновь вышли в море. Поели на палубе при свете головешек. Мое отношение к литературе сильно отличалось от отношения большинства пишущих людей. Я пользовался своими книгами: поначалу они были для меня предметами, примирявшими со вселенной, – я жил с ними и сжигал их. Океан пенился под звездным небом. Волны катились очень быстро – иссиня-черные, слегка освещенные нашими огнями, могучие, прекрасные и молчаливые. Что я за художник – безвестный и непредсказуемый, где-то на западе Африки? Продолжение этого приключения увлекало меня больше всего. Радость была самым сильным чувством, которое я испытывал. Порой нос корабля поднимался, а затем снова опускался в воду с глухим ударом, рассекая пену. Я был молод, лишен любых христианских чувств, сомнений или сожалений. Я плыл навстречу разноцветному будущему, в котором океан награждал непобедимым здоровьем.



Я спустился в трюм. Там была довольно широкая полка, куда я складывал одежду и вещи и где спал. Я раскрыл свои блокноты: моя манера письма порой казалась лишь схемой, состоявшей из страха и радости, одержимым письмом, которое я так любил, – не повествованием, а, скорее, порядком слов. Время от времени в судно ударялась волна посильнее.

Ночью в океане мои цветные книги примиряли с историей людей, ведь эти книги будут напечатаны и размножены до бесконечности – у них больше шансов уцелеть, чем у меня. В открытом море бояться нечего, и я наслаждался минутами покоя, словно грезящий бог. Мне захотелось спать. Южный ветер дул поперек. От усталости в крови появляется дурманивший яд: я был изнурен, но голова оставалась светлой, а ум – ясным. Наконец я провалился в страшный сон, опустив голову на колени, точно эмбрион, убаюканный океаном в обители душ. Я умирал от усталости.

На следующий день под вечер мы увидели Агадир. Именно на берегу моря геометрия современности взывает к будущему...

...и обретает его. Любое нынешнее размышление имеет постоянную отсылку – архитектура, которая почти не изменится: мы наблюдаем неоспоримую победу системы форм, очень красивую и чистую. На носу корабля, входившего в бухту, я смотрел на город, построенный на холмах.

Я был рад служить людям, которые мне нравились, морякам, не просто мирившимся с моим молчанием, но воспринимавшим его положительно. Как никогда, хотелось писать. Вновь остано-

вившись перед книжным магазином, я подумал, что, наверное, я дикарь середины XX века, занятый исключительно воспитанием умов.

Я сел на автобус и поднялся к своему чуваку в Новый город: у него лежали мои рукописи. Он поздравил меня с тем, что я честно заработал денег на рыболове.

– У вас есть часы?

– ...?

186

– Хочу выучить наизусть текст – не слишком длинный и не слишком короткий.

В «Музыкальной шкатулке» я купил десять жетонов, хозяин сам вставил их в автомат, включил его и оставил меня одного в кабинке, где вскоре зажглась лампочка. На одном дыхании я произнес свой текст, один картонный диск автоматически сменял другой: еще 4, 3, 2, 1... Полностью расстроенная машина продолжала записывать... мое молчание. Мне следовало выйти из кабины и предупредить хозяина, но появился диск... чистый, и уже закрутился другой. Тогда я запел без слов, записал свое дыхание, звук своей души. Я не знал больше никакого текста и поэтому бесплатно увековечил голос собственной души. Наконец автомат сообразовал остановиться, и я вышел.

Теперь надо было уговорить Алека последовать за мной на борт рыболова. Отличительная черта людей – они не хотят ничего определенного. Человек, который хочет чего-либо, получает это: я необычайно легко распознаю свою судьбу... Я заметил у кинотеатра Алека: казалось, он ждал меня, как обычно.

Он догнал меня в сухой земляной яме у края холма, обращенного к морю, и взглянул молча: его красивые глаза неярко блестели в ночи. Мы

договорились заниматься любовью за городом, не желая знакомиться ближе. Что он знал обо мне? Ничего. Или, точнее, самое важное: мои жесты, когда я занимаюсь с ним любовью... рискуя при этом жизнью! Он принадлежал к божественному миру, за которым я только и признавал право меня судить, и он одобрял высшую мою часть, самую благородную и мужественную.

Я обхватил руками его лицо. Мне хотелось спать с ним в океане, сверкающем под луной.

– Я работаю на судне, – сказал я тихо. – Там есть место и для тебя. Если хочешь, мы будем спать вместе.

– Да.

– Мы выходим в море завтра вечером, точнее, ночью. Придешь?

– Да.

Он бесшумно встал и исчез в темноте. Я остался на склоне под светом небес, там были стройки и груды белых камней. Необычайная острота зрения усиливала жажду жизни, желание наслаждаться и бороться. Я готов был убивать ради своей защиты. Мне нравилось брать, хватать, завладевать, вырывать у целой вселенной ее самые прекрасные образы; насиловать и совращать даже в загробной жизни, притягивать к себе под звуки собственного голоса.

Я купил мороженого и спустился в порт. На холмах горели дежурные лампы, сердце билось в безграничной радости, а морской бриз ласкал лицо. Я смотрел широко раскрытыми глазами на новый, разноцветный мир, неодолимый порыв увлекал меня навстречу будущему, я безоговорочно принимал сладострастие и смерть.

Завтра Алек выйдет со мной в океан.

Мубарак нашел меня спящим на песке. Он дал сто франков на вино. По сухим лощинам я быстро поднялся до первого бакалейного магазина в Новом городе, где купил два литра вина, хлеба, сардин и сливочного масла. Спрятав бутылки под одеждой, я вернулся к Мубараку.

Сначала нужно было отойти подальше. Ни единой тени – лишь серый океан. Мы проникли в заросли, пролезши под колючей проволокой, преграждавшей путь к дюнам. Бросив последний взгляд на очень спокойный океан, я пошел вслед за Мубараком посреди кустов и тонких деревьев, из-за которых не видно было ничего дальше десяти метров. Изредка сквозь просветы в листве мелькали далекие здания и вершины холмов, а дальше – снова джунгли.

В этой чащобе за тобой могли погнаться или ты мог случайно наткнуться на любовное либо политическое свидание, ведь место идеально для этого подходило. К тому же протяженность – целые километры листвы. Ни одной птицы. Ящерицы, змеи. Вдалеке – город. Стояла прекрасная погода. Ни единого звука, почва – песчаная. Я привык бояться, слышать удары собственного сердца и потому вглядывался в каждый поворот тропинки, хотя и не видел свежих следов. Мубарак пролез под лавровыми зарослями, окруженными колючими кустами, которые довольно хорошо нас маскировали.

Он был в рабочей блузе. Под ветвями он привлек меня к себе. Боязнь разжигала во мне страсть. Боль, которую он причинял, отвлекала от страха, в переплетении колючек дрожал листок. Когда он взял меня спереди, закинув мои ноги себе на плечи, я увидел его лицо, поглощенное

удовольствием; он упорно старался кончить в полную силу, с закрытыми глазами...

Для меня единственным шансом уцелеть было вовремя заметить атакующего, ведь нападал он мгновенно. Мубарак, занимавший более выгодное положение, чем я, мог... Моя жизнь зависела от взгляда, который у меня на глазах туманился от наслаждения и единственной мысли – об оргазме. Лист был зелен. Я больше не видел даже лица Мубарака: его губы прилипли к моим. Ни звука. Должно быть, ему нравилось иметь меня вот так: ноги запутались в моей одежде, и я не выпускал из рук нож. Затылок у него был горячий, мускулистый. Любовь дикарей? Летним утром, недалеко от океана.

189

Лучше было перекусить на дюнах. Так мы и сделали.

– Я не голоден. В лицее здорово кормят.

С таким же выражением он говорил мне, что я «здорово» занимаюсь любовью (в смысле очень хорошо). Я протянул ему бутылку плохого красного вина, которую он выпил залпом, расплывшись от удовольствия. Вскоре он понес вздор, а я осушил второй литр, воткнул бутылку в песок и стал намазывать масло на хлеб.

– Дай денег, я хочу еще вина.

Сжав пятисотфранковую банкноту в руке, он тотчас скрылся, направившись в город, и вернулся через час с тремя бутылками, одну из которых наполовину осушил по пути. Он не отдал мне сдачу, а достал из кармана полностью растаявший кусок шоколада и угостил.

– Где ты купил вино?

– У друзей, в порту (где он работал в прошлом году), – ответил Мубарак, неопределенно махнув

рукой. Он был пьян, вино закипало. Недалеко находилась военно-морская база, над нами летали самолеты. Я резко опьянел, мы лежали ничком на горячем песке, передавая бутылку из рук в руки.

– Ты же можешь купить вина, сколько захочешь. Оставь мне.

190

Было уже поздно, но я еще соображал и видел неподвижные джунгли. Другой склон дюны, на которой мы лежали, обнявшись за бедра, был обращен к океану, одежда обжигала. Нам захотелось спать. Пусть даже меня убьют – все равно. Эта огромная стройка на берегу моря... Наш рабочий образ жизни в XX веке... Океан пенился неутоми-мо. Белый пляж.

Я вспомнил стихи Артюра Рембо:

*Сняв куртки, и без лишних слов,  
Они работают в пустыне,  
Где в камне роскошь городов  
С улыбкою застынет.*

*Покинь, Венера, ради них,  
Покинь, хотя бы на мгновенье,  
Счастливых избранных твоих,  
Вкусивших наслажденье.*

*Царица Пастухов! Вином  
Ты тружеников подкрепи! И силы  
Придай им, чтобы жарким днем  
Потом их море освежило<sup>7</sup>.*

---

7 Из стихотворения «Добрые мысли поутру» (1872). Перев. М. Кудинова.

Я забылся беспробудным сном.

Вечером вернулся один, последние солнечные лучи освещали пляж.

Проникнуть на недостроенный стадион оказалось легко, я сел на бетонную скамью, лицом к морю. Белые, голубые, охряные здания на холмах выделялись на фоне лазури с первыми звездами.

Глубокая радость настраивала дыхание на ритм прилива.

Я позвонил своему чуваку, у которого была уютная квартира на девятом этаже.

191

– Заходи, ты голоден.

Он немного удивился, что я пришел в такую рань.

Я быстро поел.

– Пойду я.

– Прямо сейчас выходишь в море?

– Нет, но у меня встреча со своей душой.

– Душой?

– Да, душой.

Я опять очутился на улице. Мне хотелось поговорить с ним подольше, но я спешил снова увидеть Ночь, остаться один. Я прошел через Сук, там были навалены мешки пшеницы, которые пахли жатвой. Алек должен был ждать меня на склонах.

Я начал взбираться по тропинкам. Мне нравился этот миг, когда, выйдя наконец за пределы городских огней, я чувствовал страх, сжимая в руке оружие. Я был свободен, или, точнее, каждый мой жест служил лишь моей любви и моим интригам под звездами. На камнях, словно в ночном театре, я становился самим собой и рисковал встретить лишь высшую радость, лишь самую зверскую смерть. Я знал, что меня ждет, если при нападении не удастся убежать или уложить обид-

чиков: в ночной темноте, вдали от жилья, меня зарежут, изнасилуют, покалечат. Я также рисковал встретить Алека, его ласку, взгляд. Существа, которые явятся ко мне, придут из глубин моей судьбы и Ночи.

Я ставил вопрос о преступности слишком примитивного человека в современном городе, моя жизнь была сплошной агрессией. Против кого? Я был недостаточно образован, чтобы знать наверняка: мои блокноты, скромные и примитивные, раскрывали целый характер.

С океана дул теплый ветер. Я добрался до высоких скал у самого неба. И вдруг – выстрелы, правда, вдалеке, со стороны города, рядом с карьерами, но очень громкие. Потом крики:

– Ну всё! Началось!

Я инстинктивно лег на землю и стал ждать развития событий.

Во-первых, пришел Алек. О курении и речи быть не могло. Один квартал остался без света. Снова крики у борделя, выстрелы. Где были Алек и Мубарак этой кровавой ночью?

Город обезлюдел. Патрули на улицах, с автоматами, зажатыми в кулаках, – я старательно избегал их. Я обнаружил, что решетки порта заперты, в воздухе витал запах воды, океана, прилива. Мой француз? Узнаю новости от него.

Вестибюль, неосвещенная лестница. Пришлось долго стучать.

– Чего тебе?

– Хочу переночевать у вас.

Я упрасивал. Узнав мой голос, он открыл. Скверная лампа рассеивала темноту в квартире.

– Опять ты!

– Куда же мне идти?



Он запер дверь на засов и прижался к мебели.

– Я думал, ты погиб.

Он был голый и дрожал.

– Ничего толком не известно. Извини (он надел трусы). Все началось в квартале красных фонарей. Убитые, раненые. Плохи дела.

– Ни одно судно не выйдет из порта.

– Хочешь хлеба с маслом?

В кухне тикал будильник с фосфоресцирующими стрелками. Час ночи! Я должен уже быть в море с Алеком. Мое желание натолкнулось на события – арабские дела, не имевшие отношения ко мне. Я еще никогда не был в такой опасности: имея при себе карточку, я внушал подозрение. Если меня сцапает полиция или арабы...

– На самом деле, твой дорогой дружок погиб из-за тебя. Ба-бах! Это мятеж. Ты был в горах, когда раздались первые выстрелы...

– Да, я рисковал меньше, чем люди на террасах кафе.

– Завтра ты уйдешь. Меня уже начинают утомлять твои наклонности. Я люблю немного пошлепать мальчика – это возбуждает, но с тобой все превращается в сцену пыток. Ты доволен, только если расплужишь тебя на ковре, или что-нибудь в этом роде.

– Для вас любовь – забава.

– А твоя «душа» – это дикость, вот и все.

– Нет, я свободен, даже у вас. Я люблю Господа всем сердцем, всей душой, всеми фибрами.

– Развалился на моем диване и славит Господа!

– Это грубовато, но так и есть, нравится вам или нет.

Он ударился о мебель. Вдруг загорелся свет.

– Самое волнующее в человеке – та божественная искра, которую он носит в себе. Если бы вы любили меня...

– С меня хватит!

– Я уйду...

194

Я вновь очутился на улице, точнее, в вестибюле, и не знал, куда идти. Эта ночь, обещавшая стать такой прекрасной, заканчивалась на пороге здания, в страхе и одиночестве. Впервые в жизни я был побежден – побежден Восстанием, расстроившим все мои планы. Двадцать выстрелов уничтожили мои надежды. Агадир – такой тихий, и вдруг!.. Алек в толпе, в которую стреляла армия, взятый ночью и Африкой, откуда он появился однажды вечером, окружив меня лаской и добротой. Увижу ли я его вновь? Я был уверен, что нет.

Да, я был побежден, но не по своей вине, – ведь так просто завоевывать сердца благородных и чистых людей, – а из-за восстания народа, который я любил, в городе, где поступал по-своему, не встречая сопротивления. Я достал сигарету и закурил. Меня могли арестовать, я больше не был таким свободным, как прежде. Тюрьма, пытки... Каким слабым был этот дурак в своей квартире: летом его жена и дети жили во Франции, а он держал магазин парфюмерии или дамских товаров. Идиот. Еще и образованный... Ведь он покупал книги по искусству, которыми я пользовался.

Отправит ли он мои тексты по почте, как обещал? Внезапно я понял, что нет. Страх скомпрометировать себя, заняться моими делами, которые пугали его, с тех пор как перестали забавлять. Подлец – он и есть подлец.

Потерянные рукописи... Я интуитивно остался в этом вестибюле, у француза они погибли навсегда – так же, как Алек или, возможно, завтра

я сам. Я должен их спасти, найти адреса людей, кому их отправить: нужно забрать их и разослать самостоятельно. Я говорил о любви в неслыханных выражениях, это не должно погибнуть, необходимо выжить, а не умереть, подобно другим людям.

Я позвонил. Поняв, что я пришел за рукописями, он открыл, радуясь избавлению от них. Как только дверь приоткрылась, я вставил ногу между нею и косяком, заставляя впустить меня. Я убил бы его, окажи он сопротивление: я вступил в свою последнюю схватку.

– Если хочешь кофе, останься.

Он боялся, что я расскажу, откуда вышел, если меня арестуют на улице.

– Они в выдвижном ящике, под рубашками.

Мне хотелось уйти, снова увидеть ночь. Никакого желания читать собственные тексты, слишком поздно: знаки уже отдалялись от меня, и я страстно желал с ними расстаться.

Кофе ободрило. Облака плыли над бухтой, над мерцающим Океаном, где я должен был спать с Алеком – вдали от опасностей, убийств, крови, в открытом море.

Тиканье будильника. Свободен – я все еще на свободе! Бороться до конца? Слово в слово. Оставаться в полном сознании. Исправлять, зачеркивать и снова писать. Я перечитал все, одно предложение за другим. За целые столетия – сколько спасенных произведений!

Он включил патефон, я любил индийские напевы. Безбрежный океан поблескивал за светлым песком.

– Я хочу забрать и пластинки.

– Оставь мне парочку.

– Нет, хочется снова услышать свой голос.

Вначале скрип иглы и щелчок записывающего устройства, а затем мой голос, далекий, взволнованный и наконец спокойный, отправляющийся на завоевание системы форм: искусство зова – пения и воплей в тишине звездной ночи.

– Вторую.

Шепот. Времена, пространства. Голос Человека, который доносится из самого дальнего Прошлого и вдруг победоносно призывает вселенную в свидетели своей неодолимой силы. (Последняя фраза резко обрывалась.)

– Еще одну, пожалуйста.

Текст, пропетый при луне, затем тишина, и вдруг – мое дыхание, голос моей души, песня без слов, древнейшая мелодия, придуманная в спокойствии жатвы. Вопль ужаса и радости, крик зверя или ночной птицы. Пение и свист, который стихает, становится едва слышным и опять возобновляется, устремленный к ночным светилам. Затерянный, отчаянный вопль, хрип умирающего и охотящегося зверя, победная песнь пустыни, вопиющая к небесному сиянию. Открытие бесконечного пространства.

– Пойду я.

– Останься.

– Нет.

Я снова был на улице: толстый пакет с моими текстами и пластинками, перевязанными веревкой, у меня на спине. В Агадире было тихо, казалось, там воцарилось безмолвие пустыни. Ни одного такси возле моря (великое удовольствие для арабов – отправляться в три часа ночи на юг, в Мавританию.)

Я увидел книжный магазин, который так часто меня зачаровывал, и прижался лицом к витрине. Как я был одинок! Стекло отделяло от модных книжек, но я предпочитал светила и страх. Несмотря на свою необразованность, я обладал благородством и силой.

Сердце стучало от страшной радости. Ночью, в опасности, придя из далекого Прошлого и уже вступив в будущее, я дрожал от гордости и чести быть человеком.



*Мавритания, 1956*

Не важно, чем я занимался в Мавритании, пока одним ноябрьским вечером 1956 года не добрался до Росо на реке Сенегал, позолоченной последними солнечными лучами. Семь лодок были готовы к отправлению на север в сторону Каеса: семь лодок с заостренными носами и длинными реями, похожие на легкие суда, которые перевозят воду в Египте. Если учесть, что оружие, разгружаемое со стороны Порт-Этьена, доставляется в Марокко по маршруту Росо-Подор, а затем его принимают кочевники пустыни, нетрудно догадаться, какой интерес представляли для меня эти корабли, якобы груженные солью. На палубе дымились костры, на борту жили два десятка человек: они вычерпывали воду из трюмов и готовили ужин. Я сидел недалеко от якорных цепей, глядя на людей, которых любил. Я тоже мог быть с ними, на их стороне, против Европы, которую всегда ненавидел, но я был писателем, хоть и точно не знал каким. Поэтому я нуждался в духовной свободе, которую защищала только Европа, и был вынужден оставаться с Европой. Ну а пока мне пришлось

уйти вместе с этими лодками. Зная, как обстоят дела, я молча ждал, пока мое присутствие обнаружат. Высокий негр спросил, где я работаю – на орошении? Нет, ответил я, в Чертежном институте, мне нужно в Каес, а дороги перерезаны паводком.

Так оно и было. Что же касается Чертежного института, по-моему, такой существует, да и звучит хорошо: Чертежный институт. Сказав, что дороги перерезаны, я подразумевал, что Река – единственный доступный путь, и ожидал, что мне предложат воспользоваться лодками, ведь отказ выглядел бы подозрительно. Как раз подошел хозяин, командовавший флотилией.

– Двадцать тысяч франков, если хочешь.

– Нет, пятнадцать.

После чего я направился к Росо, не дожидаясь ответа. Ко мне прислали ребенка с предложением за семнадцать, и я согласился. Найти меня можно было без труда. Где? Например, на рынке, где в густеющем сумраке уже горели лампы. Туда вела дорога, затененная пахучей листвой эвкалиптов. Карбидные лампы слабо освещали дощатые бараки, некоторые были уже закрыты. Я купил сигарет и спичек и закурил, прислонившись спиной к дереву, как вдруг возле меня сел мальчик, очевидно, искавший сахар.

– Семнадцать тысяч.

– Ладно, когда отплываем?

– В десять, когда подует ветер.

Бесшумно ступая по теплему песку, мы отправились с ним в гараж, где я оставил две сумки, которые он забросил на спину и пошел к реке. Это приключение могло кончиться очень скверно. Мой последний вечер? Я наблюдал за миром



живых, к которому больше не принадлежал: торговка сигаретами закрывала свою лавку – пожилая женщина, то есть еще молодая, но потрепанная жизнью. Я заговорил с ней необычным тоном (заметив это очень быстро) – нараспев и победно, но кого я победил? Банкноты, которые она мне дала, были такие грязные, что я даже не стал проверять их и выяснять, обманула она меня или нет. Она казалась порядочной, подошла к лампе, и я не пересчитывал сдачу – это не имело значения, особенно сегодня вечером. Торговка была грязная, но красивая, с теплой, живой грудью, такой сладкой для младенца: меня притягивал аромат жизни. Но еще больше меня притягивали символы смерти – ребенок, сообщивший, что меня ждут. Она догадывалась, что я не из Росо, к тому же замыслил какое-то опасное дело, и я вдруг почувствовал ее враждебность. Эта женщина наконец поняла, что я верю не только в жизнь, и инстинктивно настроилась против меня. Если я куплю что-нибудь, она обкрадет меня... Я попросил кофе, хлеба и сахара. Солдаты играли, облокотившись о песок. Я любил игру – Большую Игру, которая грозит насильственной смертью, но полна остроты и сюрпризов и заставляет сердце биться, как от любви. По темной аллее я вышел на берег реки, поодаль от лодок, различая лишь их запутанные мачты и огни.

В кромешной тьме я известил о своем приходе шумом шагов и вещей, которые положил у воды. Электрическая лампа освещала доски, позволявшие подняться на обшивку. Голоса смолкли, мои вещи передали из рук в руки и указали мне лодку, где на светлой циновке стояли мои сумки. Ночь была безлунная. Накренившиеся лодки, подчас

связанные тросами, напоминали настоящую деревню, в которой приглашали с одной палубы на другую и горящие угли выпускали снопы искр. Разговоры возобновились, особенно на самом большом судне, где заканчивался ужин. Голо-са были воодушевлены праздником, на который меня не пригласили. Негры, их невидимые лица да тени на поверхности воды.

Затем наступила тишина: втащили доски и отдали швартовы. Электрическая лампочка озаряла убранные паруса у подножия мачт, несколько силуэтов выделялось не фоне неясно фосфоресцирующей реки: все улеглись под тентами и вскоре уснули. Мы еще не отплывали. Ребенок сказал, что отплывем в десять, когда подует ветер, что, возможно, означало: *если* подует ветер. Однако ветер не дул: легкий бриз, от которого плескались невысокие волны вдоль корпусов, был лишь относительным ветром, вызванным течением: огромная река бежала к Сен-Луи. Запутанные мачты тихо покачивались под звездным небом; на каждом судне был флаг, негромко хлопавший на самом верху реи; наш я различил с трудом, он был белый, а другие – темно-синие и зеленые. За жестяными крышами и зарослями эвкалиптов виднелись отблески, наше молчание позволяло расслышать звуки Росо, в частности, шум открытого кинотеатра. До меня долетали обрывки фраз, и я пытался понять, о чем речь: сначала была кинохроника, людские дела, а потом – фильм о войне. Самолеты гудели и сбрасывали бомбы, взрывающиеся в тишине африканской ночи. Наступление японцев... Китайский народ. В конце концов огни угасли, и действительно наступил звездный покой: господа унтер-офицеры расходились по

домам. Наши знамена захлопали громче, возвещая, что ветер скоро поднимется. Меня клонило в сон, и я поел хлеба, чтобы не уснуть, когда будем отплывать. Однако глаза слипались, хотя мне хотелось увидеть наше отплытие, медленное рассеивание флотилии по темным водам, и не смыкать глаз, когда лодки, повернувшись против течения, пойдут вверх по реке. Да, ветер наконец-то подул, но меня одолел сон.

203

Когда я открыл глаза, уже рассвело: судя по тому, что я видел из-под брезента, который на меня набросили, солнце стояло высоко. Волны бились о корпус, и приходилось идти под парусом, накренив правый борт. Я оттягивал минуту, когда встану и увижу свой первый день на реке, а также лица людей, с которыми предстоит жить.

Больше не видно было ни одной лодки, а нашу занимали три человека: два очень молодых и капитан, который стоял на приподнятом носу, держа в руке большое весло, служившее рулем. Все они не сводили с меня глаз. «Оценивают, – подумал я. – Каждый мой жест должен им понравиться, успокоить». Я умылся в реке и решил по возможности не сходить с циновки, которая предназначалась для меня и, если можно так выразиться, определяла мои границы на борту, поскольку остальная часть палубы была загромождена ящиками и сундуками туземцев. Ни слова – лишь их и мои взгляды. Как прекрасен был мир в это первое утро новой жизни! Я видел болота, заросшие кувшинками, голубое небо, птиц и змей, пустынные, девственные, первобытные берега.

Зеленая вода бежала с медленным журчаньем. За излучиной ветер подул поперек, так что нам пришлось опустить парус и очень тихо идти

с шестом в спокойствии первых утренних часов: наш капитан уравнивал усилия своих людей при помощи весла, привязанного веревками. Ни слова – можно было подумать, будто они немые. Вокруг простирались необозримые болота и деревья суданского типа: ни клочка твердой почвы, лишь вода вперемежку с сушей, острова, песчаные отмели, засохшие деревья, молодые побеги. Птицы поднимались в воздух и летали над рекой.

В десять часов бросили якорь в паре кабельтовых от берега, где земля, потрескавшаяся на солнце, наконец вырывалась из-под власти воды. Когда руль сняли и привязали к деревянной скамье, а люди сели на носу заваривать чай, я решил подойти ближе и посмотреть. Пролезая вдоль обшивки, я выпустил ее из рук, упал в болото и с трудом сумел выбраться на твердую почву.

Я сделал пару шагов к деревьям, теплая и липкая грязь пузырилась под ногами. Ни одной птицы – лишь змеи да ящерицы. Отвратительные красные пауки ткали промеж деревьев свои нити, блестящие от росы. Новорожденная земля, такая красивая и юная, безудержно манила.

Наши мачты покачивались над камышами. Мы подняли якорь и поплыли посредине реки. То были мои райские деньки, и я их заслужил. Открыв обе сумки, я составил опись имущества. Помимо провизии, о которой уже известно, у меня были деревянная шкатулка, компас, чернильница, бумага, нож, ручка для пера, аптечка, пистолет калибра 6.35, мои книжки, цветной порошок, золотая пыльца, рукопись «Путешествия мертвых», табак, папиросная бумага, мыло, бритва, нитка и иголки.

Эти скромные пожитки, сопровождавшие меня в плавании, были в моих глазах бесценны – единственные драгоценности, которые я любил больше всего на свете. Воздух был прохладен, но солнце пекло. Я был молод и очень одинок. Когда в полдень люди сели обедать, мой рис с рыбой отнесли в жестяной миске в сторонку, и я ел его руками, которые затем помыл в спокойной воде бухточки, где мы остановились. Плавание продолжилось – очень медленно, то под парусом, то с шестом. Берега покрывала очень густая растительность – первые настоящие джунгли в моей жизни. Наши люди трудились у обшивки, орудуя промокшими длинными шестами: они доставали их из реки, напрягая мышцы в тяжелом усилии. Если шесты увязали в иле, люди с трудом выдерживали их, едва не падая в воду.

Когда умолк последний обезьяний крик, наступила ночь. Вверху по течению загорелись огоньки других лодок, шедших впереди. А я-то думал, что первыми идем мы. Выстроившись борт к борту в ночной темноте и, вероятно, бросив якорь на какой-то песчаной отмели, они стояли единым островком, озаренным огнями и окруженным фосфоресцирующими светляками. Я узнал мальчонку, которого видел накануне вечером, когда он раздувал головешки, но сам он, похоже, совсем меня не помнил. Как и в полдень, мне принесли еду, и я поел горячего, липкого риса, невидимого в жестяной миске. Затем на недвижных лодках все помолились Богу, падая ниц и поднимаясь, точно страшные, фанатичные тени, готовые убивать и умирать. Каждый закутался в парус, надвинув светлый холщовый саван на лицо.

Спать не хотелось, я закурил и вдыхал холодно-ватый ночной воздух. Огни потушили, и я разли-чал густую листву, покрывавшую берега. Я не испытывал страха, хотя был один среди незнаком-цев на этой реке. В небесных просторах мерцали звезды – чистые и ясные. Как прекрасны были светила между мачтами, которые, медленно пока-чиваясь, двигались поверх созвездий! В конце концов, нарадовавшись путешествию, я забылся глубоким сном.

Другие лодки скрылись, и мы остались одни на воде. Небо было чистое и очень спокойное, как всегда в начале засухи. Орудяя шестами, двое мужчин перегибались через борт. Капитан оставил штурвал, чтобы опустить парус. Судно, предоставленное само себе и уносимое течением, мчалось навстречу тростникам. Дрейф, поначалу очень медленный, набирал волнующую быстро-ту. Я схватил руль и сумел обойти мель. Капитан бросил якорь, мы выловили гребцов и длинные шесты. Эти люди игнорировали меня, но теперь наконец-то заметили. Я стал одним из них – наверное, им понравились мое молчание и сдер-жанность.

Багры вновь погрузились в воду. Наша лодка раздвигала камыши, проникая в джунгли. Игуа-ны медленно передвигались, соколы парили над этими дикими садами. Никаких следов человека. Стоя на палубе, я был счастлив, как божественная душа, наша лодка молчаливо углублялась в страну мертвых.

Вечером мы увидели деревню. Над соломенны-ми крышами поднимался дым, а по реке спуска-лась пирога, и рыбаки забрасывали сети. Дерев-

ня напоминала крупный поселок, окруженный земляными стенами, над которым возвышалась недавно построенная безобразная мечеть. До меня доносились звуки человеческой жизни. Окликнув пирогу, я сел в нее и велел доставить меня на сушу, вместе с одним из наших людей – неким Серро. Сначала я подумал, что он тоже хочет воспользоваться пирогой, чтобы что-то купить. Он следовал за мной по лабиринту улочек, скромно и молча, но его присутствие было красноречиво: ему дали приказ присматривать за мной, защищать и любой ценой вернуть обратно на борт. Эти люди чувствовали ответственность за меня.

В воздухе пахло дымом, женскими ароматами – жизнь в чистом виде. Жить, рожать, умирать. Лучше было вернуться на борт, их дела меня не касались. Я с удовольствием показал своему ангелу-хранителю, что прекрасно понимаю: он следит за мной, но его присутствие меня не раздражает. В конце концов мы пошли вместе: он – впереди меня, точно слуга. Затем произошел комичный эпизод. Видя, как я благородно шагаю в тишине сумерек, сопровождаемый телохранителем, жители деревни решили, что я какая-то важная шишка, инспектор, совершающий объезд. Старейшина представился и спросил, кто я. Я ничего не понял в объяснениях своего слуги и сказал лишь, что я... из Чертежного института. Это вызвало у старика блаженный восторг, и я поспешил вернуться к реке. Пламя жаровни мягко освещало лицо Серро: возможно, он догадывался, кто я, и подозревал, что я лгу. Старый дурак отвез нас обратно на пироге, и когда мы вернулись на лодку, скрылся, неслышно гребя веслами.

Меня впервые допустили к вечерней трапезе и пригласили занять место среди людей с нашей лодки, смешавшихся с экипажами других судов. На палубе ели все вместе: я действительно стал одним из них, работал на них, служил им, а они служили мне – тени среди теней. О, моя вечная душа между ночными светилами! Все встали и помолились Богу, обнажив плечи под шерстяной одеждой.

Затем они уснули, убаюканные покачиванием лодок. Я курил на своей циновке, прислонившись головой к сундуку. Один за другим гасли огни в деревне, и в кромешной темноте бодрствовал только я. Поднялся ветер, и тогда я увидел то, что так хотел увидеть в Росо: паруса надулись в ночной тишине, капитан встал за штурвал, и судно отплыло по спокойным водам реки.

Я был счастлив в этом диком краю. Наша лодка шла по цветам, и зеленые стебли с резким звуком царапали корпус. Я веселился, как принц на своей одинокой барке.

Серро постирал мое белье, он решил стать моим слугой – первым в моей жизни. Мы оба были очень взволнованы: один – тем, что прислуживал, а второй – тем, что прислуживали ему. Я не смел ни о чем просить – иметь собственного слугу! Всё мне благоприятствовало, большой парус разворачивался, а тросы скрипели.

В десять часов мы прибыли в большую деревню. Был базарный день, и женщины из окрестных племен продавали на главной площади всякую всячину. В злачном квартале я встретил капитана.



Юные куртизанки были прекрасны, с маленькими косами на голове, хрупкими конечностями, едва оформившейся грудью, горячими, чувственными бедрами, черными ручками и большими звериными глазами. От них пахло сухими травами. Купив чая и кофе, мы вернулись на борт, и плавание по спокойным водам продолжилось.

Весь день мы вспоминали их губки. Шли не слишком быстро, ведь мы никуда не спешили. Мне нравились девушки, но затем я возвращался в мужской клан. Он был непорочен на голубых водах реки – Великой Реки Мертвых в древесно-цветочном Раю.

209

Мои цветные книги разосланы наугад, и первые их страницы уже опубликованы. Порой я думаю о них по ночам, в каком-нибудь затерянном уголке, и не могу успокоиться.

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие .....	9
Тадмит .....	15
Гардая .....	73
Эль-Голеа .....	83
Агадир .....	147
Река .....	199

**Издательства Kolonna Publications и  
Митин Журнал представляют**

Тони Дювер  
**ВЫСЛАННЫЙ**

Роман Тони Дювера был написан во Франции, охваченной молодежной революцией. И сама эта книга революционна. Дювер взорвал синтаксис и дал слово «высланным» – изгоям, которые прежде не имели права голоса. Персонажи романа – люди ночи, ищущие любви под парижскими мостами и на бульварах, мужчины, которым «слишком трудно хранить верность, если возле дома есть общественный туалет». Их голоса переплетаются, и все они рассказывают одну историю о похоти, которую невозможно утолить.

## **Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют**

Марсель Жуандо

### **ОБРАЗЫ ПАРИЖА**

«Образы Парижа» (1934) и «Новые образы Парижа» (1956) – собрание портретов обитателей великой столицы, людей и животных – «неповторимых, одиноких, слепых светил, вращающихся, не сознавая того, вокруг Бога». Величавая женщина из общественного сада, белая лошадь угольщика, «ночной мотылек» Фёдор, безумица в кафе, сборщица угля, спящий на набережной клошар, 30 слепых девушек, карманник из метро, попугайчики в клетке, злобная консьержка, навязчивый жандарм, сентиментальный бродяга и сотни других персонажей, встретившихся философу Марселю Жуандо на пути в городе, который с тех пор изменился до неузнаваемости и остался в точности таким же.

## **Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют**

Марсель Жуандо

### **ШКОЛА МАЛЬЧИКОВ**

В 1948 году шестидесятилетний философ Марсель Жуандо познакомился с двадцатилетним солдатом Робером Коке. Их любовный роман продолжался 12 лет. В книге «Школа мальчиков» собраны письма Робера и поклонника Жуандо Анри Роде (1917–2004), раскрывающие тайны этой истории. Лишь после смерти Жуандо открылось, что письма Робера писал Анри, подстроивший встречу своего кумира с юношей.

Марсель Жуандо

### **МОЙ БЕСТИАРИЙ**

Тесные, дружеские и при этом искренние, лишённые всяких недомолвок отношения у нас складываются только с животными. Они осыпают нас ласками, не отмеряя их, и дарят нам поцелуи без счета. Те, кто отказывают себе в обществе собаки или кошки, даже не сознают, сколько они теряют возможностей по-настоящему познать себя, соизмеряя с этими маленькими существами, гораздо менее отличными от нас, чем нам кажется. Во многих случаях они имеют право гордиться собой гораздо больше, чем мы.

## **Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют**

Марсель Жуандо

### **ЛЮБИТЕЛЬ НЕОСТОРОЖНОСТИ**

«Липсе сидел на обочине дороги, видом и облачением подобный ангелу. Земля была нежной, как ласка, и неподвижная улыбка моего друга меня успокоила. Я прижался головой к его сердцу. И тут же его руки превратились в огромный волшебный лес, где я увидел странных птиц и огненных хищников – львов и тигров, которые смотрели на меня с любовью и восхищением, словно я был местным божеством. Я позвал Липсе, и лес ответил мне его шепотом; каждый листок знал мое имя».

Рене Кревель

### **ТРУДНАЯ СМЕРТЬ**

В 1925 году на вопрос сюрреалистической анкеты о самоубийстве Рене Кревель ответил «Это, возможно, самый верный и совершенный выход». Пьер Дюмон, герой его знаменитого романа «Трудная смерть» (1926), тоже не находит другого выхода. Он страстно влюблен в американского композитора Артура Браггла, а тот делает вид, что Пьер ему наскучил.

## **Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют**

Борис Лурье  
**ДОМ АНИТЫ**

Дом Аниты – сексуальный концлагерь в центре Нью-Йорка. Рабы угождают господам, выполняя их прихоти. Здесь же обитают призраки убитых евреев. Роман посвящен ритуалам этого тайного общества, которое постепенно распадается. Исчезает и прежний Нью-Йорк: в него прибывает Сталин и его танки, а сексуальные рабы отправляются в Албанию, казавшуюся автору идеальным государством.

Эрве Гибер  
**Я И МОЙ ЛАКЕЙ**

Очень странные ощущения, когда открываешь посреди ночи глаза и видишь стоящего рядом лакея – в домашнем халате или пижаме, которую я носил, когда был молод, или же голого, с накинутой на плечи меховой шубой, которую я заказал себе, когда ездил в Москву, – лакей смотрит во мраке, не говоря ни слова, сверля меня взглядом поблескивающих желтых глаз.

## **Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют**

Эрве Гибер

### **ЦИТОМЕГАЛОВИРУС**

„Цитомегаловирус “ был опубликован в январе 1992 года, всего через несколько недель после смерти Эрве Гибера в больнице, куда его доставили из-за попытки самоубийства. „Слова побеждают все!“, – говорил писатель. Его дневник это подтверждает.

Гертруда Стайн

### **ИДА**

10 декабря 1936 года Эдуард VIII подписал отречение от престола ради того, чтобы жениться на Уоллис Симпсон. Известие об этом стало мировой сенсацией. История британского короля и его возлюбленной привлекла внимание Гертруды Стайн. Она решила написать роман «Ида», героиней которого стала бы Уоллис Симпсон. Но постепенно замысел книги менялся. Ида все меньше походила на герцогиню Виндзорскую. Она путешествовала по Америке, перебираясь из одного штата в другой, заводила собак, встречала разнообразных мужчин, порой выходила замуж и наконец обрела Эндрю, своего короля.



## **Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют**

Эрве Гибер

### **МАЛЬВА-ДЕВСТВЕННИК**

Не сам ли Гибер скрывается за этими странными персонажами, меняющими имена и представляющими в образах юного девственника, пылкого любовника, жертвы землетрясения или ученика, провожающего великого философа до могилы?

Эрве Гибер

### **МОИ РОДИТЕЛИ**

Почему двоюродная бабка Луиза перевернула вверх дном квартиру своей сестры Сюзанны? Какие документы она пыталась отыскать, и что было в сожженных письмах? Правда ли, что в них говорилось о постыдном проступке матери Эрве Гибера? Зачем его отец срочно покинул Ниццу, бросив свой ветеринарный кабинет, парусник, зеленый форд, двух лошадей и невесту? К какому шантажу прибегают родители маленького Эрве, дабы заполучить семейные реликвии? И где спрятано золото, которое то закапывают, то выкапывают, не в силах расстаться с ним? – Для родителей нет ничего страшнее неудержимой тяги сына к поискам истины.

## **Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют**

Эрве Гибер

### **ПОРОК**

Гибер показывает нам странные предметы – вибрирующее кресло, вакуумную машину, щипцы для завивки ресниц, эфирную маску, ортопедический воротник – и ведет в волнующий мир: мы попадаем в турецкие бани, зоологические галереи, зверинец, кабинет таксидермиста, открывая для себя видения и страхи писателя и фотографа. Книга, задуманная и написанная в конце 70-х годов, была опубликована незадолго до смерти Эрве Гибера.

Эрве Гибер

### **ПРИЧУДЫ АРТУРА**

Я хотел рассказать историю святого, живущего в наши дни и проходящего все этапы, ведущие к святости: распутство и жестокость, как у Юлиана Странноприимца, видения, явления, преображения и в то же время подозрительная торговля зверями. В конце – одиночество, нищета и, наконец, стигматы, блаженство.

## **Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют**

Эрве Гибер

### **ГАНГСТЕРЫ**

Эрве Гибер написал «Гангстеров», когда уже был болен неизлечимой болезнью. Он ни разу не упоминает ее, но повествование наполнено страхом смерти. Критик газеты Le Monde назвал эту книгу «трактатом о боли».

Эрве Гибер

### **СМЕРТЬ НАПОКАЗ**

Язык и член – полны жизни – оголены, у них нет кожи. Язык – говорит, мокнет в слюне, ест, сосет, входит внутрь и выходит. Член – его едят, он сам ест и льет свое семя. Излияния слов, слюны, спермы. Гомосексуальное тело – анально-фаллическое письмо. Именно тело, конечно же, говорит, пишет, исследуя себя и вписывая себя в текст. Устраивает представления, впадает в истерику, занимается садомазохизмом. Говорит о желании и оргазмах. Раскрывается, рвется, буравится. Описывает свои органы и заставляет играть их, словно музыкальные инструменты. Состоять в садомазохистских отношениях с письмом, – посредством его – вскрывать, препарировать собственно тело и препарировать самое письмо.

## **Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют**

**Эркюлин Барбен**

### **ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРМАФРОДИТА**

Судьба Эркюлин Барбен (1838–1868), мужчины, которого двадцать лет считали женщиной, – загадочна и драматична. Автобиографические заметки Барбен являются не только уникальным историческим свидетельством, но и в высшей степени захватывающим чтением. Во Франции они были подготовлены к печати знаменитым философом Мишелем Фуко для первой части задуманной им серии «Параллельные жизни».

**Джордж Сильвестр Вирек**

### **ДОМ ВАМПИРА**

Первый американский декадент Джордж Сильвестр Вирек (1884–1962) впервые приходит к русскому читателю с романом «Дом вампира» (1907). В книгу включены записи разговоров Вирека с Адольфом Гитлером, Зигмундом Фрейдом, Магнусом Хиршфельдом, материалы о его отношениях с лордом Альфредом Дугласом и Алистером Кроули.

## **Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют**

Гертруда Стайн

### **АВТОБИОГРАФИЯ КАЖДОГО**

Окрыленная успехом «Автобиографии Элис Б. Токлас», Гертруда Стайн решила написать сиквел: «И вот приходит время, когда я могу рассказать историю моей жизни». Стайн подробно рассказывает о своей юности, об отношениях с братом. Но особенно ее волнует трансформация собственной личности, случившаяся после выхода «Автобиографии Элис Б. Токлас». Детально описана поездка в США, перемены, происшедшие с Америкой за тридцатилетнее отсутствие Стайн. «Автобиографию каждого» Стайн заключает словами: «Быть может, я – это не я, даже если меня не укусит собака моя, но, так или иначе, мне нравится то, что у меня есть, а сейчас – сегодня».

Книги издательств «Митин Журнал»  
и «Kolonna Publications» можно приобрести в *Москве*:

«Фаланстер», Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27  
«Циолковский», Большая Молчановка, д. 18  
«Москва», ул. Тверская, д. 8  
«Московский Дом Книги», ул. Новый Арбат, д. 8  
«Библиоглобус», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 5  
«Перелётный кабак», Мансуровский, 10

в *Санкт-Петербурге*:

«Порядок слов», Наб. Фонтанки, д. 15  
«Все свободны», Наб. Мойки, д. 28, второй двор  
«Свои книги», ул. Репина, д. 41 (во дворе)

через *Интернет*:

«Ozon» [ozon.ru](http://ozon.ru)  
«Лабиринт» [labirint.ru](http://labirint.ru)

в *Украине*:

«Либра» [librabook.com.ua](http://librabook.com.ua)

Франсуа Ожье́рас  
**ПУТЕШЕСТВИЕ МЕРТВЫХ**  
*перевод Валерия Нугатова*